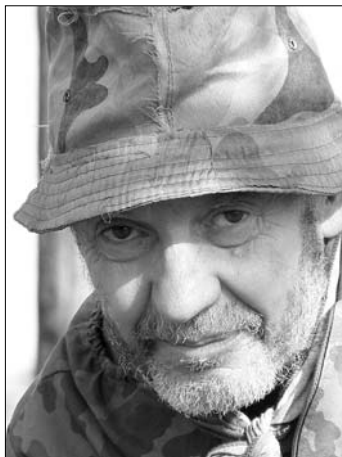


АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН



БЕЛАЯ СТЕПЬ

ПОВЕСТЬ

*Ты не вейся, не вейся трава со ракитой,
Не свыкайся, не свыкайся молодец с девицей:
Хорошо было свыкаться,*

тошно расставаться.

Русская народная песня

Би шаамда дуртээб¹

Голубоватой степной дымкой наплывали в память Елизара сухие забайкальские увалы, за которыми синела тайга; широко распахивались долины рек и озёр; и зрело памятливого око аймачное село Сосново-Озёрск, где в братчинных помочах и потешном, балагурном ладу жили русские — рыбаки да таёжники и буряты — чабаны да охотники, где вешним жаворонком отпела его юная степная страсть к раскосой и скуластой деве, что в долине целовалась с желтоликим солнцем.

Раннее детство Елизара прошло в семейском² селе Большой Куналей, а уж отрочество и ранняя юность — в лесостепной, озёрной Еравне (по-рус-

¹ Би шаамда дуртээб – Я тебя люблю (бурятск.)

² Семейские – староверы, живущие в Забайкалье.

БАЙБОРОДИН Анатолий Григорьевич родился в забайкальском селе Сосново-Озёрск. После окончания Иркутского университета работал в областных газетах, преподавал русскую литературу в школах. Автор книг “Старый покос”, “Поздний сын”, “Боже мой...”, “Яко богиню землю нареки” (фольклорно-этнографические, историко-публицистические и художественные очерки), “Русский месяцеслов” (обычаи, обряды, поверия, приметы русского народа). Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

ски — Яравна¹, по-бурятски — Ярууна), в притрактовом селе Сосново-Озёрск, где причудливо сплелись русские и бурятские обычаи, обряды и речения, ибо сложилось это село от слияния двух старожильческих поселений: приозёрной деревеньки Сосновка и степного улуса Улан-Еравна².

Минуло полвека, и вспоминал Елизар братских степняков с печальным вздохом: увы, увы, городская... *узкоголовая, козлоногая...* поросль русских и бурят, скачущая под тарабарщину и ор басурманского беса, раструсившая на скаку родимую речь и родовую память, уже не умела жить меж собою в ласковом ладу, как жили их таёжные и степные предки. Елизар тербил инистую бороду, посечённую горестными ветрами, и явственно видел яравнинских земляков и смуглую девушку, плывущую сквозь сизый утренний туман и под песнь степного жаворонка растаявшую белым миражом...

* * *

...Елизар и не приметил, как очутился на краю деревни, где по-старушечьи лепились друг к другу замшелые подслеповатые избёнки, просвечивающие сквозь шербатые тыны, продуваемые вольными ветрами. И оторопь взяла, когда вывернул за околицу и уткнулся обмершим взглядом в степные увалы, зелёными горбами уходящие в голубое приволье. Кажется, вчера ещё степь, с которой вешним припёком слизнуло снег, почивала, седая и скучная, чернеющая сиротскими заплатками... Это сельские ребяташки, пуская пал, выжгли сухие полегшие травы. Ныне же степь, очнувшись от долгого сна, омолодилась, зелено и сочно налилась щекастыми холмами.

Елизар обмер, зачарованно улыбаясь, вдвигая покачивая головой, и, как случается в юную пору, вместе с полыхающими зелеными и сердце ущемилось сладостным вешним ожиданием. Оглядевшись, с улыбкой подмигнув степной благодати, скинул он куцый пиджачишко, расстегнул белую сорочку и, подставляя взопревшую грудь холодящему ветерку, метя траву штанами-клясами, пошёл веселее и ходче, почти зарысил, правя на одинокую берёзу, неведомо как и когда выбредшую из далеко синееющего перелеска прямо на взлобок затыяжного увала. Хотелось бежать по степи, распластав руки орлиными крыльями, а потом упасть и зарыться лицом в сырую траву.

Елизар любил степь — и в зелёной мураве, и белую, сухую — сагаан гол и сагаан хээрэ, любил во всякую пору, хотя глянешь зачужевшими глазами: батюшки мои, крутом голь голимая, а из живности — коршун висит в поднебесье да суслик торчит или мечется меж нор. Безотлучно проживший в Яравне детство и отрочество, Елизар любил степь нежнее, чем тайгу с её хребтами и падыми: в степи воля мечтательному взору и блаженному воображению, да и гнуса здесь отродясь не водилось — ветерком сдувало.

Бабье лето... В семейском селе Большой Куналей Елизар Калашников прожил раннее детство, а когда родители откочевали в Еравну, летами прохлаждался у бабки с дедом. Помнится, бабье лето считали со дня Семёна-летопроводца до Рождества Богородицы. Семейские деды поговаривали: “Семён лето провожает, бабье обряжает”, — и примечали: “Если первый день бабьего лета будет ясным, то вся осень выйдет тёплая и вёдренная”. Бабье лето — бабам хлопот полон рот: чтобы одеть домочадцев в посконные рубахи, с Семёна-дня мяли посконь — бессеменную коноплю. У кого добрая ко-

¹ В 1658–1660 годах по приказу казачьего атамана Афанасия Пашкова на северо-востоке Забайкалья, у Яравня-озера (в будущем — озеро Большая Еравна) был построен Яравнинский острог. Вокруг Яравня-озера кочевали эвенки, а в годы русского освоения края — и буряты из рода хоридоев, чей диалект стал основой бурятского языка. Буряты вытеснили эвенков с их исконных земель на север, а поскольку сами буряты подвергались опустошительным монгольским и маньчжурским набегам, то и попросились *под руку белого русского царя*. Название *Яравна* произошло от слова *яровень*, которым изначально называли большое озеро из-за крутых, подмытых водой берегов — *яров*. Потом и район стал именоваться Яравнинским или Еравнинским.

² Улан-Еравна — Красная Еравна; в ту советскую красную пору всё именовалось и величалось *красным*.

нопелька, у того звонкая копейка. Посконь убрали в цвету с Ильина дня и расстилали на пашнях и покосах, дабы вылежалась под дождём и солнцем. Потом её сушили в банях и бабьим летом мяли. Отзвенит морозами зима, отвоет выюгами, вспенится вешняя черемуха белым цветом — тогда вымачивали холсты, валиком выбивали и опять сушили.

С Семёна-летопроводца улетали в тёплые края журавли и гуси, и со светлой печалью провожали их девицы на выданье, прощаясь с беспечальной жизнью под ласковым отеческим приглядом, под тёплым материнским крылом. Бабье лето днями потело — страда, а вечерами — пело: посиделки, супрядки, засадки, досветки, вечёрки, полянки, где женихи высматривали себе путных невест; от Семенова дня до святого Гурия, до холодного Рождественского поста — свадебные недели. Семейские спешили отдать девуку замуж, парня женить, дабы удалить от соблазнов холостой жизни.

Вспомнилось: на Семёнов день — дитя постригай и на коня сажай; и в лад древлему обычаю, Елизару отец с кумовьями вершили постриг и сажание на коня. Созвали родичей, пригласили Елизарова кума с кумой. После молебствия отец подал куму ножницы, и кум выстриг у крестника Елизара гуменцо. Выстриженные волосы кума передала матери, которая зашила их в ладанку и сунула на божницу за древле образа. Потом кум и кума вывели крестника на двор, где отец ожидал с конём, а мать расстелила для них ковёр. Здесь кум на ковре передал крестника отцу с ласковым словом, и отец принял сына с поклонами, посадил на коня: “Не падай, мужик... Как гутарят казаки: либо грудь в крестах, либо буйная головушка в кустах...”

* * *

До бараньего гурта идти — не ближний свет, и чтобы скоротать дорогу да не притомиться, Елизар пошёл дальше с песнями. Вольно ли, невольно ли из памяти выплёскивались песни громкие, раскатистые, какие бы впору тянуть голосистым девкам да зычным мужикам, а не ему, коли медведь-бахалдэ ухо оттоптал и Боженька голосу не дал; но в гольной степи некого было стесняться, и парень ревел, словно бычок-сеголеток, учуявший волю и густую траву, драл горло со всей своей обрадевшей моченьки:

*Вижу горы и долины,
Слышу трели соловья,
Это русские картины,
Это родина моя!..*

Он кисло морщился, досадливо передёргивал плечами, тряс кудлатой русской головой, коря свою дырявую память, из которой на жизненному скаку повьтрусились песни и остались одни лишь охвостья: куплет-другой — вот и вся песня. Но петь хотелось, и он на разные лады, набивая оскомину, горланил всё одни и те же куплеты, каким-то чудом зацепившиеся в памяти, и, осипший, взмыленный, уже с частушками подвалил, наконец, к сиротливой берёзе.

Обряженная с вершины до закопченного комля пёстрыми лоскутками, вязочками, пучками конских волос, одинокая берёза, не уродись она кривой, по-бабы осадистой, а удайся тоненькой и ладной, увеселённая листвой, походила бы она на кумушку-берёзку, какую в Троицу носят девки, припевая и пришаркивая чёботами, влетая в берёзовые космы багрецовые да васильковые ленточки, приладив на вершинку девичий плат или ромашковый веночек. Но не обыденной берёзой жила на вершине увала и эта, уперённая лоскутками, в дивную неведомую пору, как прикинул Елизар, залетевшая сюда крылатым семенем, а потом маетно, с Божьей подмогой раздвигая корнями убитую твердь, доставая из глуби скудную сырость, быстро заматерела она и остарела.

Солнышка на голом, угревистом темени хватало за глаза, и не нужно было тянуть вершину к свету, как в тесной берёзовой тайге, поэтому вековуха, как баба-квашня, раздалась вширь, оплыла, навесила крученые-верче-

ные толстые сучья над увалом, поросшим колкой и редкой щетиной, облокла древнюю плоть в толстую морщинистую кору, чтобы не иссохнуть в знойных сушеях, не ознобиться на метельных ветрах. Но, может, берёза и не явилась на голой сопке летучим семенем, а сначала росла тут посреди родного белого племени, сгнувшегося под мужичьими топорами или укочевавшего в баян гоол — в богатую долину, и осталась она одна на гребне увала, пропечённого солнцем, продуваемого семью ветрами. И, похоже, за принятые муки, за бобылью старость степняки повеличили её святой берёзой — онго хухан, и понесли на табисун¹ свои дары и шаманские мольбы. Здесь буряты давали и себе, и коням передышку; спешивались, сползали с телег и сёдел, привязывали к берёзовому суку тряпицу или клоч волос с лошадиной гривы, потом, кинув под комель медный пятак или папиросу, садились, подмяв ноги под себя, и просили у небожителя, якобы незримо кружащего над берёзой, лёгкого пути и удачи. А уж после, плеснув на опутавшую комель иссохшую траву глоток огненной воды, сами выпивали с духом на пару; но перед тем как пригубить медную чарку, макали палец в водку и брызгали на все четыре стороны степного света. Пошаманив, отпотчевав степноликого идола — бурхана-небожителя, трогались в путь и тянули нескончаемую, как степь, бурятскую песню, где поётся обо всем, что тихо проплывает перед дремлющим взором степняка.

Русские мужики, возросшие без спасительной веры Христовой, но суеверные, введом не ведали про нашёпты-заклинания, что бормотали старожилы-буряты, смиренно сцепив иссохшие бурые ладони, а и не ведая, всё же почитали берёзу священной и старались хотя бы подпоить, чтобы задобрить сребролюбивого пьяницу-бурхана: мол, русский Бог нам завсегда поможет, а ежели ещё и бурятский подсобит, дак, паря, не жисьшь пойдет... малина охальная. Молодым русским бурхан на таёжном хребте и степном увале — повод *сбрызнуть* — выпить, хотя, бывало, и потехи ради пошепчут, ёрнически закатывая глаза: “Шани-мани на бурхане...” Но пожилые русские не признавали шаманских болванов и, сроду не забывавшие святоотеческой веры, сотворив Христову молитву перед дорогой, молча проезжали мимо берёзы; иные, чураясь суеверий ради Христовой веры, ещё и ворчали: де, и что за духи такие, ежели водку дуют, табак курят, серебро и тряпьё любят?! Может, им *ишшо* и *голу блудню* под берёзу посадить?..

Елизар вспомнил с улыбкой, как однажды, выехав на мотоциклах в берёзовую гриву, выпивали они с деревенскими друзьями и потом смеха ради распластали измазученные тряпки на узкие лафтаки и нарядили ими пару кривоногих, малорослых берез; а через год диву дались — вот уже и святая бурятская пазуха, и с полдюжины берёз пестреют тряпичным лоскутьем, подобным тому, из которого деревенские старухи ткали и плели тропки да круги, застилая ими избяные половицы.

Елизар замешкался подле вековухи, глядя, как плещутся на ветру давнишние лохмотья, изжёванные метельными ветрами, застиранные моросящими и ливневыми дождями, полинявшие на белом солнце, безбожно пекущем посреди лета; наглядевшись, хотел было по детской пакостной привычке пошукать в траве заплесневелые зелёные медяки, но тут же спохватился: старики баяли, мол, руки отсохнут. Усмехнулся и, нащупав в кармане мелочь, метнул к изножью вековухи копейку, и на этот мелкий грош, ничего путного не придумав, смеха ради испросил у бурхана, чтобы повеселиться ему нынче властью на проводниках друга и, конечно же... самое азартное хотеньице-веленьице даже и себе убоялся прошептать, дабы не спугнуть удачу, хотя... хотя перед туманным взором крутобоко и полногрудо слепилась из кочующего миража русокошая, щекастая дева и поманила... поманила раскосыми, иззелена-голубыми лукавыми глазами. Чтобы манящее видение не развеялось сизой дымкой, Елизар тихо сел в траву подле коновязи, прозываемой сэргэ, — толстой, добела вышарканной жердины, уложенной на вкопанных столбах, — и, уместившись половчее, подумал с внезапной кручинной, да и не заметил, как сам с собой заговорил:

¹ Табисун — священное, молитвенное место у бурят.

— Неужто вот так и просвистит моя молодость, и не встретится... — а дева, отмахнув косу на вздыбленную грудь, сжатую тонким ситчиком, косилась на него взывающими глазами, поваживала круглыми плечами и звала, звала, манила... — Да-а, паря, такую бы отхватил... сдурел на радостях. Да-а... Нет, — степенно рассудил Елизар, — пусть бы не из красы, но чтоб девка так девка была, не сухостойная какая. Эх-ма!.. А то, чего доброго, попадет замористая — не обнять, не прижать... Эдакую бы... с косой... Да позарится ли на меня?..

Со вздохом глянул на себя девыми глазами: коренастый, до срока по-мужичьи закряжевший, с короткими, по-казачьи кривыми, загрёбистыми ногами, — карапет не карапет, а и ладного роста Бог не дал: да и лицо — по-бабы пухлое, с мелкой нашлепкой носа — тоже красой не наделил, разве что светлые космы завил в стружку. Поморщившись, Елизар сплонул в траву и стал высматривать чернеющий возле берёзового перелеска бараний гурт, где виднелась изба чабана и приземистая кошара для овец, тесовой крышей почти упёртая в землю, с жердевыми загонами вокруг.

Если на гребне увала-добуна желтел оронгой — пастбище со скудной, щетинистой травой, где кормились лишь овцы, да и то не всякое лето, то внизу, где увал расправлял горб, сочнели высокие травы, пестрели яркие цветы, зелено отпахивалась унга или хангал дайда, — благоухающая земля. Там, неподалеку от степного родника — хээр булаг, налившего чашу большого лога и родившего приболоченное синее озерко-тор — хухэ нуур, жили и пасли отару овец родители Елизарова дружка и однокашника Баясхалана Дугарнимаева. Его нынче забрали во флот, и Елизар торопился на обжорные да хмельные проводины.

* * *

Намозолив ступни в узеньких, остроносых полуботинках, паренёк всё же добрёл до айла¹, что вольготно нежился посреди хангал дайды — благоухающей приозерной долины. Возле похожей на барак низкой избы, рубленной из сосняка-тонкомера, уже проставили два запылённых *козлика* — так дразнили в деревне брезентовые “газики”; рядом с ними поуркивал незаглушённым двигателем грузовик, а ближе к кошарам подрёмывали на вечернем прилёке три малорослых, мохноногих лошадёнки, ещё не выпряженные из телег; и вокруг уже похаживали принаряженные гости, сбивались в гомонящие и курящие стаи, нетерпеливо косясь на голые ещё дощатые столы. Над столами висели лампочки, которые зажгут тогда, когда из белой степи натекут сумерки; но движок, источник будущего света, уже тарахтел под навесом.

Елизар, не высмотрев среди гостей ни одного русского, приуныл было, но тут его подманил к себе пожилой степняк, — как оказалось, отцов знакомец Церемшил, — и стал пытаться о житье-бытье. Парень словоохотливо поведал, что мать с отцом, слава Богу, живы-здоровы, откочевали в родовое село Большой Куналей; братья и сёстры тоже ничего живут, хлеб жуют, солью посыпают; а он — студент университета — прибежал на всё лето в родное село на каникулы и подрабатывает монтёром в узле связи.

— На кого ты, паря, учишься? — прищурившись, уставился на него Церемшил.

Елизар замялся, гадая, как бы ему попроще объяснить.

— Да... вроде, на историка.

— Историка?... Э-э-э... понимай: это, вроде, Галсана — даланы заливать, улигеры...² Почо город ходить?! Галсана бы слушал — шибко много историй знает.

Степняки засмеялись, и тут же, лёгок на помине, сто лет ему жить, подоспел и сам Галсан, папаша Баясхалана-новобранца, мелконький, сухонький, ладный и чёрный, как головешка, отчего снежной и чужеродной каза-

1 Айл — селение.

2 Даланы, улигеры — мифологические рассказы, бывальщины, житейские истории.

лась на нём белая нейлоновая рубаша, твёрдым воротом подпирательная коротко стриженный сивый затылок. Галсан дохнул сивухой прямо в Елизарово лицо... *можно было закусывать...* потом шумно и суетливо поздоровался:

— Сайн байна!¹

— Сайн... — эхом отозвался Елизар.

— Ну, как дела, паря?

— Да ничо, паря.

— Ну, тогда ладно, паря, — успокоился Галсан. — Женилхам бы-рос?.. — он с резким качем хотел было хватануть парня за брючную прореху, но Елизар отпрянул, торопливо заверая:

— Вырос, вырос! Болё, болё².

— Но тогда, паря, совсем ладно. Женить будем... Архи³ пил — башка хворал, девка любил — совсем башка потерял... Зять! — широко отмахнув рукой, улыбнулся мужикам. — Свадьба играть будем, опять гулять будем, ёкарганэ! — Галсан похлопал парня по плечу. — Ты, Елизархам, однахам, мал-мал по-бурятски толмачишь. Толмачь бы, угы?⁴

— Угы... Малость понимаю... — уклончиво пожал плечами Елизар, но тут же заверил: — Думаю подучить...

— Надо, надо... Бурятам живёшь, пошто толмачь угы?! Но, однако, девкам знаашь как сказать?

— Зна-аю, — лукаво, по-свойски ухмыльнулся Елизар. — Би шаамда дуртээб.

Галсановы глаза умиленно растаяли среди холмистых щёк... Буряты испокон веку привечали тех русских, что по-ихнему *толмачили*. Галсан захотел и, кое-как успокоившись, снова похлопал Елизара по плечу, растёкшись всем лицом в хитроватой улыбке, подмаргивая и подёргивая головой, словно отманывая его в сторону для секретного словца.

— Но-о, паря, совсем зять. Моя Даримка жена дам.

Хозяин смеха ради, по заведенной издавна привычке навеличивал парня зятем, хотя за словами его не таился посул. И всё же... всё же неспроста, не спяну говорено было про зятя: раньше Дугарнимаевы жили в деревне, по соседству с Калашниковыми, и маленький Елизарка, дружок Баясхалана, не выводился из их дома. Вот, кажется, уже тогда припадала Елизарова душа к Галсановой девке, щекастой, солнотликой Дариме, у которой в берестяном чумашке для тряпичных кукол бренчали игральные кости, — крашенные в два цвета бараньи лодыжки, завёрнутые в тонкую сыромятную кожу; и уже тогда Галсан, глядя на ребят, играющих лодыжками, дразнил Елизарку зятем и спрашивал шутя, вырос ли женилхам, без стеснения хватая парнишку за сатиновые шкеры. Малого смущали вольные выходы игривого Галсана, и он старался ускользнуть из его ухватистых, цепких рук.

Потом Дугарнимаевы всем своим гомонящим табором откочевали в степь, в хангал дайду — благоухающую землю, где подрадились пасти отару овец; и ребятишки ходили в школу прямо с гурта, или Галсан привозил их на коне, по теплу запряжённом в телегу, по зиме — в кошевые сани; а когда выстаивались рождественские да крещенские морозы и в степи гуляла варначья метель, ребятишки жили на бурятском краю деревни у своей родни.

В начальную школьную пору Елизар ещё пасся подле Даримы, но, коль народилась она двумя годами раньше, то уже в восьмом классе бывший уха-жёр, пока ещё шестиклассник, смотрелся подле неё малым недоросточком. После восьмилетки девушка подалась в педучилище, и вот уже зиму учительствовала в начальной школе, и если раньше Елизар видел её мельком, на бегу, то нынче летом виделись они чаще: сойдутся на дощатом, щербатом тротуаре, Дарима посмотрит с блуждающей на губах зазывной, ласковой улыбкой, смущённо отведёт взгляд, потом снова взглянет, спросит что-нибудь случайное, попутное, но в глазах, пытливых, проникающих, сухо и напористо за-

¹ Сайн байна — добрый день.

² Болё — хватит.

³ Архи — водка.

⁴ Толмачь бы, угы? — Понимаешь-нет?

таится недосказанное. Елизар учует это, перехватив её взгляд, и, не смея поднять глаза, торопливо ответит ей, да на том и разойдутся. Однажды увидел он её в потёмках рядом с Бадмой Ромашкой — и зашершавела, заняла душа от ревнивой боли, но вскоре отошла, поскольку подвернулась ему весёлая синеглазая Вера Беклемишева, и ревность утонула в кружащем, жарком омуте.

— Дарима здесь? — спросил он Галсана, но тот не расслышал или, спохватившись, не пожелал трогать сокровенное, печалась нынче о другом.

— Зачем твоя папка кочевал, яй-я-яй! — сокрушался он. — Куналей — путняя тайга нету, озеро нету, охота, рыбалка нету, — худой, паря, жись. Лазарь — большо-ой тала¹ был. Архи пили, — с лукавым подмигом щёлкнул он себя прямо в острый, играющий кадык. — Папка говорил: архи пил — бревно лежал, сай пил — далёко бежал. Лазарь шибко, паря, хитра был. Еврей дразнили... Наша брацка тоже хитра, а папка твоя дедушка моя карта надувал, вся мунгэ² карман клал. По-бурятски шибко толмачь был. Пошто тебя не учил?!

Даже с горем пополам владея русской речью, балагуристый Галсан говорил бы с три короба, но тут подоспел Баясхалан — высокий, суховатый, загода стриженный налысо, *под Котовского*, — и, тиснув Елизаров ладонь, коротко, сердито выговорил захмелевшему отцу по-бурятски, отчего тот суетливо покивал головой и, скорбно сеутулившись, посеменял во двор, охваченный низким, в три прясла, жердевым забором.

Посреди травянистого, испятнанного цветами-желтырями просторного двора белели под брезентовым пологом наспех сколоченные столы, на свежеструганных столешницах которых уже поблёскивали батареи бутылок, гуртились тарелки, стаканы, глубокие фарфоровые пиалы, привезённые из Монголии, где у Дугарнимаевых кочевала близкая родня. В дощатой летней кухне, крытой степной дерниной, заросшей быльём-ковылём и желтырями-одуванами, всюю шла варка и парка, а подле летней кухни горел тихий, но жаркий костёр, языки которого лизали подвешенный на треногом железном тагане дородный котёл, где, судя по двум овечьим шкурам, расяленным на избяном срубе, спела баранина, варенная бухэлёром, — щедрыми кусками, какие ещё не всякий мужик в один присест одолеет. Крутились возле костра и летней кухни молодые бурятки; степенно и праздно похаживали, понукая молодых, старухи, разнаряженные в яркие халаты-дэгэлы с блестящими медными застёжками, отороченные по вороту курчавой бело-снежной мерлушкой.

Махонькая, стриженная налысо шабаганца³, одеревенев от древности, грела ветхие кости у огня; сидела, подмяв под себя ноги, изредка потягивая коротенькую чёрную трубочку и смачно поплеывая. Может быть, высматривая в синеве небожителей, она думала: всё на земле суета сует и томление духа; скоро... теперь уж скоро спорит её усталая плоть на таком же костре и под заунывную заупокойную песнь бродячего ламы сизым дымом повестье её тихомирная душа в голубую долину предков. Шабаганцей русские ласково дразнили малых чад, коих тоже стригли налысо *под Котовского*, и если старуха была уже духом в мире ином, то малое дитя, не набравшись взрослых грехов и пороков, ещё пребывало в ангельском мире.

Баясхалан не успел посудачить с дружкой: его окликнула мать, и он ушёл в дом. Елизар же, не высмотрев более знакомцев, послонялся возле гурга и выбрал на Бадму Ромашку. Необычно долгоногий для степняка, сухопарый человек сидел на завалинке и, примостив на коленях папку, быстро и мягко рисовал что-то на шершавом листе бумаги.

Прозвище Ромашка пристало к Бадме Цыдынову ещё в школе. То ли оголец набедокурил, то ли учился в младших классах больно худо, но только вызвали в школу его родителя, который кочевал в степи с овечьей отарой. Учительница, от войны убежавшая с Украины в русско-бурятское село,

¹ Тала — друг.

² Мунгэ — деньги.

³ Шабаганца — старуха, которая готовится отправиться в мир иной, стрижётся обычно налысо.

уродилась неженкой и привередой, и дразнили её за глаза Жабой, поскольку фамилия её была Жаботинская. И вот, значит, вызвала Жаботинская родителя Бадмы и зло отчитала: мол, надо вашему Бадме голову чаще мыть, а то пахнет... Отец усмешливо глянул на неё и вздохнул: дескать, Бадма — не ромашка, Бадма нюхать не надо, Бадма учить надо... Как-то долетело до ребячьих ушей про Бадму и ромашку, вот и прилепилось к парню прозвище, да так крепко, что ни отмыть, ни отскрести. Но, опять же сказать, и характер Бадмы, не в пример другим молодым задиристым бурятам, оказался тихим и ласковым, одно слово, — Ромашка.

Отбегав восьмилетку, смалу пристрастившись к рисованию, Бадма Ромашка укатил в Иркутск и, как порешило село, вернулся назад взаправдашним художником. Бог весть, какой из паренька вышел живописец, но Елизар однажды весьма удивился, когда нынешней зимой, шатаясь в городе Улан-Удэ, чудом попал в художественный музей и вдруг увидел среди прочих три картины Бадмы Ромашки. Сперва не поверил и глазам своим, снова да ладом прочёл подпись на тяжёлой резной раме: “Ба-дма-а Цы-ды-пов”. Вгляделся в картины и... вдруг опалился виной и нестерпимой тоской по родимой деревне, словно по старой матери, одиноко и терпеливо ждущей блудного сына... Из сиреневой, голубоватой предночной дымки, из сероватых сумерек глянула на Елизара степь печальным материнским оком — укорила шатуна да тут же и пожалела. Увидел он виданную-перевиданную степь разбуженной любовью — белесую, сухую, замершую в ожидании сокровенного Божьего чуда; увидел и висящего над сиротливо темнеющей берёзой — онго хухан — бесприютного коршуна, и жмущихся друг к другу низкорослых коней-степняков — хвосты их треплет шальный ветер; увидел и бараний гурт с юртой в туманной утренней долине, и девушку-бурятку, спящую среди блеклых трав и тусклых предосенних цветов, уснувшую, положив седло в изголовье и укрывшись брезентовым дождевиком, а на губах её, во сне отмякших и приоткрытых слегка, едва теплится улыбка...

Елизару не верилось, что степь живописал Бадма Ромашка, чудной, хмурый, хотя и добрый деревенский парень. И только сейчас, когда подглядел, как плавно и певуче оживал под карандашом вольный травяной двор с костром и прокопченным котлом, с одеревенело спящей возле огня старухой-шабаганцей, с пожилой буряткой в дэгэле, которая мешала деревянным черпаком в котле и туго жмурилась от дыма, отчего глаза её словно таяли в рыхлых щеках, он поверил, что стал Бадма Ромашка настоящим художником.

Елизар поздоровался, прищурился, вглядываясь в рисунок.

— Ты уже училище окончил?

Бадма Ромашка кивнул, не глядя на Елизара, то яро, то плавно шоркая карандашом по серому листу.

— Здесь будешь работать, в деревне?

— В школе, — неохотно ответил Бадма Ромашка.

— А я на выставке твои картины видел... — и хотелось Елизару поведать приятелю свои тогдашние ощущения, но рисовальщик лишь покосился на него и снова уткнулся в изрисованный лист. Тогда у Елизара вдруг само собой сорвалось с языка: — Не знаешь, Дарима придёт на проводины?

Карандаш, словно запалившись, вильнул по бумаге и замер.

— Должна... — отозвался Бадма Ромашка, пристально, исподлобья всматриваясь в Елизара. — Брат уходит в армию...

— Давненько я её не видел, — нарочно, будто бес потянул за язык, чтобы подразнить Бадму Ромашку, вздохнул Елизар... И тут же пожалел об этом: парень с усмешкой оглядел его с головы до ног и отвернулся.

* * *

Ближе к вечеру, когда жара приникла к травам и с голубого озера Хухэ нуур навевался пахнущий болотной ряской прохладный ветерок, когда, наконец, все напитки-наедки сметали на столы, гости чинно расселись; тукал

движок, под брезентовым пологом блекло и хворо на дневном свету затеплились пузатые лампочки; их сразу же потушили, но тут, пошипев и похрипев, заиграл примостившийся на завалинке магнитофон — настоящее диво в конце шестидесятых для глухоманной Яравны. Гости вытаращились на хрипящий ящик, и над сухими травами да овечьими тропами взвился в синеву задорный голос:

*Хмуриться не надо, Лада,
Для меня твой смех награда,
Лада!..*

Галсан, сидящий за столом, натужно прислушался к плясовой песенке, потом сердито замахал рукой, и “Ладу” пришлось укротить. В стаканы уже по самые края налили архи, и родичи новобранца уже выдумали протяжные, как степной ветер, здравицы, хитромудрые наказы и посулы. Когда гости утомонились, поднялся старик, венчающий застолье, вскинул лицо, изморщившее вдоль и поперёк, взблескивающее потом, которое казалось круглым от того, что голову старика покрывала лишь чуть приметная седая щетина. Старик распевно, сухой ладонью отмахивая к застолью гортанные слова, заговорил, и гости шумно поднялись с лавок, слушали в полной тишине, тиская пальцами гранёные стаканы. Похоже, старик был главным гостем: перед ним на деревянном блюде желтела варёная баранья голова, рядом млела отварная грудинка — *убсуун* — вместе с бедренной костью — *можо сэмген*, — обложенной шейными позвонками.

Потом уже краснобаяли все, кому не лень, у кого язык мало-мало подвешен, но Баясхалан-новобранец, как приметил Елизар, пропускал подблюдные здравицы мимо ушей, сутуло и отрешённо ютясь подле сухонькой, стеснительной буряточкой, про которую Елизар и слыхом не слыхивал, но однажды видел её в кино рядом с Баясхаланом.

А наказы и посулы не иссякали, словно говорливый хмельной ключ, сверкая на солнце, бил из глубинных недр. Ухвативший из бурятского говора лишь самые ходовые выраженья, вроде “шыры бы, угы?..”¹ да, грешным делом, сластолюбивое “шы намэ талыштэ”², — Елизар сперва делал *всё понимающий вид* и вместе со всеми хохотал... может, и над самим собой... дружно со всеми гомонил, но потом, с разгону охмелев, лишь улыбался и мотал курчавым чубом уже невпопад, и когда Баясхалан удивлённо, осуждающе глянул на него, махнул рукой и, уже не оглядывая застолья, навалился на еду, благо, что на столе было чем ублажить скучающее чрево. Живущий всё лето без отцовского и материнского призора, кормился он кое-как: то в чайной, то у старой тётушки Ефимьи; теперь же, дорвавшись до обильной еды, без всякого стеснения принялся так уписывать, что за ушами пицало.

Перво-наперво, чтобы промочить и охладить глотку, опалённую огненной водой, выхлебал он полную чашу арсы — молочного, с пережаренным и толченым зерном, кисловатого напитка; а уж затем принялся за *позы* — бууза, которые лишь в бурятских застольях вкусны и сытны: и баранина свежая, сочная, и корочка из тонко раскатанного теста не разваливается при варке на пару, и сок из них не выплёскивается на праздничные штаны. Не успел он ещё отпыхаться от *поз*, как сноровистые хозяйки разметали по тарелкам жирную баранину с торчащими из мякоти гладко оструганными берёзовыми стрелами, чтобы руки не обжигать; и тут же налили в монгольские пиалы густой, жаркий бульон, терпко пахнущий диким луком-мангыром, и зеленый чай — ногоон сай. И так Елизар раздухарился, что после *поз* и бухэлёра отпробовал и саламат, и сушёные молочные пенки, какие раньше изредка, чтобы побаловать ребятишек, варила и сушила мать, прозывая их на бурятский манер хурмэ. И запил он хурмэ хмельной аракушкой, настоящей на забродившем кислом молоке, и уж потом, отвалившись от стола, подмигнул Баясхалану: мол, поразмялись, теперь можно и поесть.

¹ Шыры бы, угы? — Спички есть-нету?

² Шы намэ талыштэ? — Ты меня поцелуешь?

Зелени на стол не подавали — не привадились к зелени забайкальские жители, да и ничего на северно-восточной земелюшке толком не росло, кроме репы, картошки да моркошки, и тут, хочешь-не хочешь, а без мяса не проживёшь.

Осоловевший было от щедрой выпивки, от пышущего жаром свежего мяса, Елизар вдруг махом протрезвел и такой налился бычьей силушкой, что, чудилось, одной левой заборол бы самого медвежалого бурята в любой борьбе: хоть в русской — на лопатки, хоть в бурятской — на три точки... А милей того — ухватил бы весёлую девку, сгрёб бы её в охапку и, как беремья дров, унёс бы, игриво взвизгивающую, в радостном испуге припадающую к его груди, — унёс бы её, ярую и жаркую, налитую звероватой силой, в берёзовую гриву и бросил в просушенные зноем, глубокие, пахучие мхи... Но с девами на проводинах вышла беда — Елизар с досадой разглядел в застолье только двух русских девиц, неведомо когда подчаливших к столу, но одна была не шибко приглядиста, шадровита — на лице будто *немытик горох молотил*, а другая, покраще, липла остреньким плечиком к рыжему долговязому парню, Елизарову однокласснику Грихе. “Да-а, зря шаманил подле табисуна: шани-мани на бурхане... — передразнил он себя и ругнул кособокою старую берёзу, возле которой разыгралось его резвое воображение. — Без девушек тут со скуки сдохнешь. Водку жрать да на пьяных мужиков любоваться...”

Были за столом и молоденькие буряточки, и даже очень привлекательные, но к ним Елизар не рискнул бы соваться, — отошлют русского, да и опасно — застолье осудит игривую выходку, а задиристые парни тут же схватятся биться на кулаках.

— Ты пошто девок-то мало позвал?! — не договаривая, что, мол, *русских*, вроде и со смехом, но и с едва скрываемой досадой приступил он к Баясхану, когда отошли от стола, чтобы перекурить, и остались с глазу на глаз. — Себе-то, паря, отхватил...

— Ну, и ты привёл бы свою Верку...

С Верой Беклемишевой, девкой бравой и удалой, схлестнулся Елизар в начале лета; помаялся месяца два, трижды прихватил с деревенскими ухари, трижды проклинал, но, залитый покаянными слезами, обласканный, трижды прощал, и неведомо чем бы кончилась маятная эта любовь, да заполошная Вера неожиданно-негаданно вдруг расписалась с заезжим парашютистом-пожарником, которого, как божилась, полюбила ещё прошлым летом.

— Верку-то?.. — вздохнул Елизар. — С Веркой, Баясхан, разошлись мы, как в море корабли. Так-то вот...

— Жалко. Хорошая была девчонка.

— Все они хорошие, когда спят... лицом к стенке... А может, паря, в деревню слетаем, девок привезём. Мужика с машиной попросим...

— Да ладно, успокойся ты. Лучше выпей...

— А ты напейся воды холодной, про любовь забудешь, — насмешливо пропел Елизар.

— А хочешь, познакомлю?..

Елизар воспрял, выгнул петушиную грудь.

— Есть тут одна... красotka. Увидишь, рядом посажу. Анжелой звать...

Теперь по левую руку от Елизара, чуждо застолью и скучающе, сидела девица — похоже, *столичная штучка*, из Улан-Удэ. Была она в красных, широко расклешённых штанах, до скрипа затянувших её длинные, узкие бедра, в облегающей, с опасным вырезом, черной кофтенке; на голове всклокоченной копной торчал лихой начёс, а раскосые глаза её были так жирно и копотно размалеваны, что и зрачков не видать сквозь слипшиеся ресницы. К тому же правый глаз её завешивала жёсткая, как конский волос, чёлка. В отличие от яравинских бурят из буддийского рода хори — круглоликих, с утопающими в щеках мелкими носами, — Анжела, судя по крупному носу, была из западных, иркутских бурят — хударя, как дразнили их восточные, — из эхиритов либо булагатов, крещёных шаманистов, некогда кочевавших в усть-ордынских степях и лесах подле Байкала и на острове Ольхон. Уловив азартные Елизаровы взгляды, Анжела нацепила круглые очки и так, не приведя Господи, презрительно зыркнула на парня сквозь мутные стекла, что у того

душа похолодела и сжалась от испуга. Похоже, диковинная эта залётная деваха была не из простых, смекнул про себя Елизар, углядев на её тонкой шее корольки, набранные из одутловатых, смахивающих на запечённую сосновую смолу, блестящих камешков. Подтверждали его догадку и огрузлые перстни на её холёных пальчиках, которыми она, отставив острый вишнёвый ноготок, церемонно несла рюмку к багровому, капризно изогнутому рту.

Елизар хоть и оробел перед *залётной кралечкой*, а всё же косил на неё глазами, зарясь на её великолепие, и даже пытался заговорить с нею, *закинуть удочку*, — вдруг *клянет*, но она, скользнув по нему скучающим взглядом, тут же отвернулась, деловито подёрнув спадающие с мелкого носа тяжёлые очки. “О-тё-тё-тё, какие мы гордые! — дёрнул плечами Елизар. — Слова не скажи. Ещё укусит, чего доброго. Но ничто, ничто, мы тоже не лыком шиты. Будем посмотреть...”

* * *

Разгоряченный, раскрасневшийся народ решил охолонуться, размять одеревеневшие от долгого сидения ноги, и когда после треска и урчания магнитофон зверски взревел: “Эй-ей-ей, хали-гали!..” — парни с девушками принялись скакать и молотить траву каблуками; туда же, подметая землю багровыми клёшами, лениво раскачиваясь, выплыла и *городская штучка*; постояв, насмешливо оглядевшись, вдруг такое пошла накручивать ногами и вертлявыми боками, что все диву дались и тут же, раздавшись, замкнули вокруг неё круг. Отплясав, показав деревенщине городской шик, той же манерной походочкой ушла она за избу, куда вскоре прибежал и распалённый Елизар.

Но сперва он поглазел на широколицего, коротконового, с необъятным торсом, медвежалого детину, по уличному прозвищу Дамбиха-хулиган, под восторженные крики парней и мужиков ломавшего трубчатые кости. Держа левой рукой кость, он какое-то время тряс над ней правой кистью, потом резко, с хеканьем бил, и кость лопалась. Раззадоренный, сунулся было в круг и Бадма Ромашка, но не тут-то было, лишь кисть отбил, что для художника большая беда — чем рисовать-то? Следом... *попытка, не убыток*... хотел было и Елизар попробовать силёнку, да благо Баясхалан остудил его пыл: чтобы кости ломать, нужна отвага и сноровка, да и рука набитая.

— Здорово, братуха! — Дамбиха-хулиган обнял Елизара и, стиснув в медвежьих лапах, оторвал от земли. — А я гляжу, нос воротит, не замечат, думаю, зазнался, паря.

— Да ну, с чего бы зазнаваться. Не заметил...

— Ладно, — похлопал Дамбиха-хулиган по елизарову плечу. — Как жизнь? В Жаргаланту не ездил?

Дамбиха приходился Баясхалану родней, потому и гулял на проводинах. Елизар же знал его с малолетства: одно время Калашниковы жили на таёжном займище подле реки Уды, и величалась тамошняя божья пазуха Жаргалантой — Жаргаланта нютаг — Счастливая земля. Там, где тайга отходила в сторону от реки, в пойменной буйнотравной и воистину счастливой долине, Калашниковы пасли баранов да тёлочек и, откормив, после Покрова сдавали в совхоз. Ниже по реке, подле озера, прозываемого бурятами на свой лад Чёрным — Хара нуур, потому что это озеро не белело солончаком, как другие, Дамбихины родители летами косили сено, и маленький Елизарка ловил ленков и хариусов, собирал грибы-ягоды, играл с весёлым парнишкой, которого тогда ещё не дразнили Дамбихой-хулиганом. Копали клубни алых саранок, буйно цветущих в редколесье, из которых Дамбихина мать варила ребятишкам лакомый тибхен (тушёная саранка). И хотя лет через пять дороги их круто разошлись, безмятежное речное и таёжное детство жило в памяти невозвратным счастьем, и Дамба, рано заматеревший, мог прослезиться при одном лишь упоминании Жаргаланты нютаг, и, коль жить им пришлось в отчаянном и разбойном аймачном селе, случалось, выручал Елизара в деревенских драках, не щадя ни русских, ни бурят. Махать кулаками парень

был смалу мастак, и в пятнадцать лет им, известным в Бурятии боксёром-юниором, гордился весь Яравнинский аймак, и его, настырного боксёра, взахлёб хвалила аймачная газета. Что уж потом вышло, Бог весть, но Дамбиха жизнь дала трещину: отсидев два года за драку, парень уже не вернулся на ринг, стал попивать и, прибавшись к здешним варнакам, шатался по деревне, ешибал рюмки и умирал задиристых подростков. Вот тогда и привязалось к бывшему кулачному бойцу прозвище Дамбиха-хулиган, хотя, сколь помнил Елизар, сам он сроду мордобоя не затевал, хотя и не прятался от драк. Да при нём и редко затевались свары, потому что деревенские архаровцы боялись Дамбиху, как огня. В армию его не взяли — срок тянул, к тому же по пьянке отморозил по два пальца на ногах. Теперь он перебивался случайными заработками: пилил дрова для казённой бани и школы, мало-мало плотничал, но всё чаще и чаще днями отирался подле винной лавки, выманивая у посетителей рубли на похмелье. Несчастные родичи молили желтоликого бурхана, чтобы парень округился, женился, завел ребятёшек и утих, наконец, остепенился в семейной колготне.

— В Жаргаланту? — переспросил Елизар и вздохнул. — Да всё не могу выбраться, недосуг. Может, нынче летом рванём по ягоды — голубику, бруснику поберём...

— От жизнь была, а!.. красота!.. — Дамбиха поскрёб плоский, скошенный затылок. — А помнишь, как ты меня спас, из речки вытащил?.. Ловил бы Дамбиха рыбу... Пойдём, братуха, выпьем за Жаргаланту.

— погоди, потом, — отмахнулся Елизар и пошёл за избу, куда ускользнула форсисстая краля: широко, по-флотски расклешённые красные брюки, чёрная кофтёнка с искусительным вырезом, тонко выщипанные брови, словно туго натянутые луки, ресницы, столь сине и густо крашенные, что вглуби бугристых щек чернели лишь узкие щёлочки глаз. Одинок посиживала городская дива на завалинке под навесом, где с берёзовых вешал, вбитых в потемневшие венцы, свисали седёлки, дуги, хомуты со сбруями. Закинув ногу на ногу, курила она тонкую бурую сигарету с фильтром, как и рюмочку, держа её на отлёте двумя когтистыми пальчиками, брезгливо оттопырив мизинец. Примостившись подле неё, Елизар выудил из мятой пачки “прибину” и для зачина попросил спички — прикурить; красотка лениво щёлкнула зажигалкой и, поглядывая осоловелыми глазами сквозь сигаретный дым, застывший вечернюю стень, предупредила:

— Будешь приставать, лучше сразу отвали. Ты не в моем вкусе...

“Уела... — приобиделся Елизар. — Похоже, девка — крапива, голыми руками не возьмёшь. Не то, что наши, деревенские... полоротые...”

— Кстати, где здесь туалет?.. Хотя в степи какие туалеты, — городил он хмельным языком, кося под дурака. — Мы народ дикий, понимай нету. У нас немецкий... вернее, ненецкий гарнитур: две палки, за одну держишься, чтоб ветром не сдуло, другой собак отгоняешь... — он спохватился, запоздало сообразил, что больно уж грубо повёл беседу, и, чтобы сгладить свою промашку, тут же, без всякого перехода спросил:

— А как вы относитесь к Омару Хайяму?

Она удивлённо развернулась к нему и фыркнула прямо в лицо:

— Омар Хайям?.. Кличка собутыльника?

— Почему собутыльника... Великий персидский поэт, — и он стал читать, сладко, по-кошачьи жмуря игривые глаза:

*В этом призрачном мире утрат и теней,
С чем сравнить тебя — думал я множество дней.
И решил, что лицо твоё солнца светлее,
Что прекрасный твой стан кипариса стройней.*

*Я спросил у мудрейшего: “Что ты извлёк
Из своих манускриптов?” И он мне изрёк:
“Счастлив тот, кто в объятьях красавицы нежной
По ночам от премудростей книжных далёк”.*

Дева поглядела на него повнимательней... *дурак дураком*... и крутанула пальцем у виска.

— Отвяжись от меня, болтун.

— Так уж сразу и отвяжись...

Надо было отчаливать, но и отступать не солоно хлебавши тоже не хотелось, и, ещё надеясь на удачу, стал плести тенёта, городить огороды, благо язык смалу был ладно подвешен; при этом он азартно косился на девицу, норовил сунуться весёлым взором в глубокий выем черной кофтенки, где едва заметно бугрилось недозревшее, но уже вянущее *козье вымя* и поблескивал во впадинке золотой амулет, словно медное ботальце на шее блудливой иманухи¹.

— Не спеши отвергать, а то будешь потом локти кусать. Близенько локоток, да не укусишь. Ты сперва приглядишься, послушай, и, может...

Городская дива невольно улыбнулась на затейливые Елизаровы словеса, отчего тот, осмелев, словно в беспамятном азарте, приобнял девушку, притиснул, забыв руку на её плече.

— Убери, — дева досадливо тряхнула плечами.

— Мы вот посиживаем, браво так разговариваем, а я даже не знаю, как тебя звать-величать.

— Анжелика.

— О-о-о! — Елизар картинно вскинул руки и выпучил глаза. — Кр-р-ра-сиво! — и опять, будто случайно, тиснул девушку за плечи. — Анжелика-а... Анже-ела... Фильм видел французский: “Анжелика и король”. Не про тебя?

— Убери руки! — сквозь зубы прошипела Анжела. — И отстань от меня. Надоела твоя болтовня.

Она опять засмолила бурую сигарету, думая о чём-то далёком от степного гурта.

“Выпендривается, — поморщился Елизар, — за человека не считает. Рожей не вышел, да и надёва не та. В такой надёве таратайки с назьмом возить, а не девушек веселить. Ишь, краля, расфуфырилась. Ну, ладно, будем поглядеть...”

— Вы пошто такие: к вам всей душой, а вы всей... — он кашлянул, не договорив последнее словцо. — А я, может, влюбился...

— У вас тут все такие?

— Влюбчивые?

— Да нет, трепачи.

— Ну, сразу и трепачи...

Она оглядела его насмешливым взглядом из-под затуманенных очков.

— Иди-ка, поищи себе другую дуру, — и мотнула ключкастой головой туда, где, схлёстываясь над благоухающей землёй — хангал дайдой — стелилась и протяжная бурятская песня, и влюблённый певец вопил на всю степь: “...Опять от меня сбежала последняя электричка!..” — Найди себе девку русскую — те безотказные... Отвяжись. И вообще... я не люблю русских.

— Ого! — Елизар озадаченно почесал в затылке.

Шелухой слетела с него хмельная игривость, парень от неожиданности, словно в лоб получил колуном, протрезвел и пристально взгляделся в девушку: сроду подобного не слышал он от степных бурят, хотя и вырос среди них, и с Баясханом на рыбалке с ночевой, на покосах, в тайге из одной тарелки суп с лашшой хлебал, спал под одним овчинным тулупом и в игры одни играл, и думы одни думал. Что греха таить, по ребячьему малоумию, случилось, дразнили друг друга: “Русский плюский, нос горбатый, убил баушку лопатой”, “Бурят — штаны горят, рубаха сохнет, бурят скоро сохнет”. После эдаких дразнилок, бывало, друг другу носы расквашивали, но тут же, размазывая по щекам красную юшку, мирились и не копили зла в душе.

— И чем тебе русские досадили? — забыв про недавние ухаживания, отчуждённо и холодно спросил Елизар.

— Мне русский парень в городе такое про бурят сказал...

¹ Имануха — коза.

“Либо не ублажила, либо вовсе отвергла, — прикинул Елизар, — вот и схлопотала на свою шею...”

— Ну и что?! Дурак злым языком сболтнул... Ты пошто всех-то на одну колодку меряешь?! В любом народе баламуты водятся. И что, народ должен за них отвечать?.. Мы что, должны ненавидеть монголов за то, что хан Батый зóрил Русь, вырезал народ, не щадя женщин и детей? Или немцев за то, что у них был Гитлер с фашистами, и они убили и спалили в печах миллионы русских?

— А-а-а, все вы... Ничего доброго мы от вас не видели.

— Ничего доброго?! — Елизар аж поперхнулся, задохнулся от возмущения... Он любил свой народ до отрадных и печальных слёз... Елизар слов не находил, и слава Богу, — злые мысли, что ветром свистели, шумели в его буйной голове, могли лишь раздуть огонь bestолкового спора и кровно обидеть... даже не её, эту глупую кралю, а весь её род, да и весь разноязыкий народ России.

Лет через семь Елизар Лазаревич Калашников, учёный-историк, вбил бы в *куриные* девичьи мозги, что малые российские народы, а попутно и арабские, и прочие рабские, не говоря уж о братьях-славянах, побитых католической и басурманской молью, столь блага обрели от русских, сколь русские не видели и в райских снах, от воловых трудов к ночи едва ноги волоча. По Божиему промыслу вызрел на Земле такой народ: сами без штанов, впору по миру идти христарадничать, ан нет, готовы остатнюю рубаху с поясным поклоном отдать чужаку, лишь бы принял дар, не побрезговал. Махнув рукой на своё благополучие, жертвенный русский народ вывел иные кочевые северные и азиатские племена из первобытного общинного прозябания к цивилизации, наделив их государственностью, о коей те и помыслить не могли.

Благодаря русским малые народы, что спаслись в Русской империи, стали ведомы миру; звонкоголосых азиатских и кавказских поэтов читали бы в степных аймаках и горных аулах, коль ведали бы азь, буки, веди... Низкий поклон талантливым русским поэтам-переводчикам: поэзия их, совершая кругосветные путешествия, зазвучала в дальнем мире.

Как в домостройной семье, русскому народу Бог даровал судьбу старшего брата, которого родители не балуют, но смалу впрягают в работушку, а другим народам — судьбу младших братьев, которых родители, читай — имперская власть — жалеют, холят и нежат. Хитромудрые старцы сыто посмеивались в холёные бороды: русский Ванька-дурак — голодный, холодный, порты в заплатках, сапоги каши просят, но с ракетой, а ракета не для власти над миром и наживы, как у Америки, а ради мира в мире, праведности и процветания.

Не вспоивши, не вскормивши, врага не наживёшь... Инославец, откормившись, презрительно плюнет в русскую спину: “Русак-дурак...”; а упаси Бог, занедужит русский медведь, набегут рвать шкуру вчера ещё вливающие хвостами льстивые шакалы. Обидится русский, поплачется, но, одыбавшись, зла не помнящий, снова да ладом ублажает и примиряет, дабы жили народы мира в любовном согласии, в неге и холе. И что мы, русские, за народ такой, что и герой в наших сказках — Иван-дурак, который лишь для того и явился в мир, чтобы, туго затянув кушак на тощем брюхе, перебиваясь с хлеба на квас, бродить по миру и, не жалея живота, оборонять слабых, спасать бедолажных, утирать слёзы страждущим, подавать милостыню голодающим?! А в старину — перво-наперво спасать для жизни вечной, крестя и облекая во Христа малые народы. В каком ещё народе столько было юродивых во Христе, которым солнечно сияют и закатно пылают купола церквей, а и весь русский род после Крещения, можно сказать, юродивый?! Где столь блаженных, суть Иванушек-дурачков, не умеющих жить мудростью дольней, земной, но жаждающих мудрости горней, божественной?! Ну, поди, не вечны дураки да юродивые, а уж как поумнеют русские, за добро ухватятся, вот уж забедует, запоет Лазаря шар земной — натравленные друг на друга народы перегрызутся, аки псы, и некому будет спасать и оборонять их — мировой Молох пожрёт наш мир.

Не стал Елизар метать бисер перед... заезжей кралей, не поймет ведь, а только спросил:

— По какому праву ты, девушка, за весь народ говоришь?! Вы там, в городе, с жиру беситесь... *интеллигенция*... — Елизар хотел прибавить: *вшивая*, но сдержался, — а у нас, слава Богу, тишь да гладь, да Божия благодать. Для меня бурят Баясхалан родных роднее.

— Живёте на нашей земле... — зло цедила сквозь зубы заезжая дива, — а бурят за людей не считаете. При царе ваши князьки бурят продавали...

— На вашей?!

Елизара не столь поразила неприязнь к русским, сколь удивило откровение, потому что земляки-степняки жили мудрее и скрытнее: зачем до пуна рубаху рвать, попрекая русских, когда можно все тихо и мирно взять — сами отдадут, да ещё и с поклонцем: дураки же.

— Почему же на вашей?! — горячился Елизар, вспоминая то, что вычитал из толстых книг по истории Сибири. — Четыреста лет это российская земля. Первопроходцы — казаки, промысловые ватаги — пришли к Байкалу вместе с бурятами... Если на то пошло, земли вокруг Байкала — эвенкийские. Да, кочевали вокруг Байкала бурятские племена, отгеснили они эвенков на север, но не было у кочевых племен государства, они и в нацию-то собрались века два назад. У русских — да, было уже тысячелетнее государство, к нему и Сибирь приращивали, и буряты сами попросились *под руку белого царя*, чтобы не вырезали их монголы да китайцы, которые им покоя не давали... И брехня это, что русские бурят продавали. Да, помещики в России своими крестьянами торговали, но буряты сроду не знали крепостного права.

— Ой, отстань от меня, болтун! — Анжела занервничала, выдернула из блескуче чёрной, хищно щёлкающей сумочки сигарету и, жадно затягиваясь, заволоклась ключьями сизого дыма.

Елизар, ошарашенный, будто обухом по голове дали, растерянно побрёл к застолью, где столкнулся с Баясхаланом, который по смурному лицу дружка догадался: не на ту парень наварлся, крапива-девка.

— Что за птица-синица, эта ваша... Анже-ели-ка?

— Анжела?.. — усмехнулся Баясхалан. — Она такая же Анжела, как я Джон. Цырендулма... Выдумала тоже... Английскую школу в Улан-Удэ окончила, в институте культуры учится. Аристка...

— Оно и видно... Такого мне наговорила... — Елизар, ещё не остывший после злой перепалки с девицей, поведал другу то, что наговорила ему Цырендулма-Анжела.

Баясхалан внимал неохотно, досадливо морщился, не желая слушать и говорить о столь хрупком предмете, скрытом и заповедном; буроватое лицо его потемнело, как небо в морось, глаза леденисто сузились.

— Она и говорить-то по-бурятски толком не умеет, зато по-английски чешет... В Америку лыжи наострила...

— Ого! — выпучил глаза Елизар. — Час от часу не легче.

— В Америке у неё старшая сестра. И сама год в американской школе училась. От Америки без ума... Ладно, пошли за стол, — он обнял Елизара за плечи.

— Я, Баясхалан, однако, домой потопаяю. Выпил, закусил и болё. Пора яба цырёнка¹.

— Да посиди, куда ты торопишься? У тебя что, семеро по лавкам плачут, есть-пить просят?!

— Дарима не приехала?

— Должна бы... — Баясхалан вопросительно глянул на дружка и пожал плечами. — Обещала... Хотя... может, тебе лучше домой податься. Сейчас молодые буряты подошьют, будут драться, а русского будут бить первого...

— Догадываюсь. Ладно, маленько посижу и ноги в горсть...

— Сиди-и. Может, и обойдётся. Стариков побоятся.

¹ Яба цырёнка. — Идти домой.

В глазах маячила англоязычная краса-смоляная коса, в ушах назойливо ворошили её хлесткие упрёки; и невольно припомнились говорливые, хмельные студенческие посиделки...

Под белесым, безоблачным небом призрачно серебрилась рябь рукотворного ангарского моря, белели опалённые солнцем валуны, где чайками посиживали купальщики и купальщицы, где заморская певчая ватага “Бони М” надрывала свои лужёные глотки в динамиках транзисторов. Скользили на водных лыжах парни и девчонки, вспахивая море, оставляя за собой длинные борозды, пенистыми бурунами бегущие к берегу; плыла вдоль берега, красуясь и бахвалясь, белоснежная крейсерская яхта под белыми парусами; а на палубе люди в белом наслаждались музыкой; отчаянно голосил, в ту пору, правда, уже несколько постаревший итальянский парнишка Робертино Лоретти: “Чья ма-а-а-айка?.. Чья ма-а-а-айка?..” Мужики, не любившие Никиту Хрущёва, прежнего генсека, толковали, де, так Никитка ту песню перевёл.

Студенты-историки, счастливые тем, что свалили — не завалили сессию, гуляли у моря, раскинув посреди плакучего ивняка *поляну* с выпивкой: словно стриженная трава-мурава, искрилось старое кострище с тремя сухими валежинами, что неведомо как и очутились-то на безлесном морском берегу. Азартно потирая руки, волоком и катом затащили с берега валуны, плотно укладывая их, — столешня, постелили газетки, накроили хлеба, холодца и ливерной колбасы, чтоб занюхать, выставили дешёвое вино: “Листопад”, портвейн “Три семёрки” и “Агдам”, по прозвищу “Я те дам”.

Студенты не столько пили, сколько наперебой языками молотили, благо, что без костей, и, слово за слово, вдруг изумились: в застолье собрался разноплеменный суглан...¹ Тумэнбаяр — монгол, прозываемый и Тумэном, и Баяром, что кичился своим европейским образованием: три года учился в Белграде, а когда Югославия побранилась с Монголией, монгольские студенты рванули в Россию, и Баяр очутился в Иркутске. Батор Хамаганов — бурят из древнего племени хориидов; Елизар Калашников — великоросс староверческого корня; Тарас Продайвода — ополяченный западный малоросс, Егор Коляда — окатоличенный белорус, на белорусский лад зовущий себя Ягором. Застольный интернационал ещё бы гуще замесился, коль на приморской поляне очутились бы и прочие студенческие приятели Елизара. Давид Шолом — коренной иркутянин, выходец из еврейского купечества, разбогатевшего на винных откупах. Болеслав Черский — из ссыльных поляков, выходец из польского села, до которого от Иркутска рукой подать. Федя Кунц — обрусевший немец из немецкого села в Казахстане, куда его родителей в начале войны, от греха подальше, дабы к фрицам не метнулись, Сталин переселил с Поволжья. Фарид Мухамедшин — татарин из приангарского татарского села, хвастливо толкующий о том, что, де, вас, русских, если поскребёшь, так нашего брата татарина отскребёшь. “И монгола...” — добавлял Баяртумэн. Тимофей Нива — обрусевший финн, который, обливаясь хмельными слезами, доказывал, что он финский барон Тойво Ниву.

В приятелях, что нетерпеливо косились на воинственную батарею бутылок, мало что осталось от *корневой облички*: если у степняков — монголов и бурят — да и у русских казаков, исконных, родовых, ноги выгибались дугой, словно приросшие к седлу, то у их потомков ноги были, как прямые оглобли, затянутые к тому же в американские джинсы. Кроме того, Батор — рыхлый, барствено вальяжный, а Тумэнбаяр — сутулый, тощий, близорукий, укрывший глаза толстыми мутными стёклами очков, словно конскими шорами, в чёрном вельветовом пиджаке, при галстукке. Из малоросса и белоруса выветрилось всё их русое славянство, — похоже, к семейным древам привились азиатские либо арабские ветви, порождая смуглые плоды. Походил бы на исконного славянина лишь белокудрый Елизар, но уродился он кривоногий и малорослый, с большой, словно с чужого плеча, ушастью головой, похожей на кочан капуста.

¹ Суглан — собрание.

Выпили они братчинные чаши и загомонили. С отрочества начитанные, а ныне — второкурсники университета, вольно ли, невольно ли повели учёную беседу о межнациональных отношениях и в один лад пропели: де, Сибирь, да и вся матушка Россия — летний дуг в радужном свечении ярких и тихих цветов — народных культур во всей их древней мудрости и красе, а посему долг верного сына родного народа, истинного патриота великой России... запамятавали в тот момент, что Тумэнбаяр из Монголии... приложить все творческие силы к тому, чтобы многонациональное российское поле не обратилось мертвенно серым космополитическим полигоном мировой буржуазии.

Елизар припомнил, что Фёдор Достоевский, славянофил почвеннического толка, в своей гениальной речи на открытии памятника Пушкину в Москве вывел такую истину: писатель, художник — обретает интерес для всего мира тогда, когда сохраняет национальную специфику и верен традициям своего народа; лишь такой сочинитель и живописец интересен и поучителен миру.

Спустя годы, одолев аспирантуру и получив учёную степень, Елизар Калашников внашал студентам: сбережение национальной культуры — не самоцель, не ради лишь этнического сплочения и национального выживания в лихую пору космополитического вырождения необходимо оно, а, прежде всего, для того, чтобы зло не одолело добро, и грядущие поколения, искушенные бесом, не выкинули бы на историческую свалку народные идеалы стыда и совести, братчины, некорыстной любви к ближнему и родной земле — идеалы, что веками свято лежались в душах, в обычаях и обрядах всякого народа, пусть не в буржуйской среде, а в мудром простолулье.

Ныне же Елизар напыщенно изрёк:

— Человек, не имеющий нравственных законов, не имеет национальности.

— Да какие они к бису чоловики — роботы, — Тарас махнул рукой в сторону купальщиков и купальщиц, где наяривал транзистор, и гулёны из “Бони М” пели: “Хочешь потолкаться, детка?..”

А Батор вспомнил:

— Великий казахский поэт Алжас Сулейменов... я слушал его в Москве... писал: “Серая раса — сволочи...”

— Негодяи, не помнящие родства, — согласно кивнул Ягор.

Елизар смутно, ещё не облакая своих ощущений в слова, чуял грядущую беду; и лишь спустя годы сумел выразить её в слове... Упаси Боже, коль человечество пожрёт чёрный демон окаянного безродства; страшно для мира, когда *серой расой* в жажде власти и наживы, в расовом помрачении души и разума явятся шинкари, всеу обменявшие богоизбранность на тридцать сребреников. У *серой расы* — чёрный поводырь, что кровожадным вороном кружит над землей, искусная художничи народы, сталкивая их в межнациональной и междоусобной кровавой брани.

Слово за слово, малоросс с белорусом попрекнули-таки русский народ насильственной русификацией народов Российской и Советской империи, и Батор согласно закивал головой.

— Вы что, мужики, рехнулись?! Вас что, пыльным мешком из-за угла?! — возмутился Елизар, но объяснить, что напраслину возводят на русский народ, не смог — ума было мало, а посему братья-славяне, обнявшись со стешными азиатами, в жарком споре уложили русака на лопатки. Елизар даже застыдился, что он русский, но ещё бормотал: может, не русификация, а бурятизация, если русский фольклор в университете читает доцент Баирма Бадмаевна, а старославянский — профессор Зорикто Мункоев, который на лекциях похвалялся тем, что на международной конференции по старославянскому языку победил в споре славянских учёных.

Лишь через семь лет, молодой, да ранний, учёный Елизар Лазаревич Калашников, вбивая в толоконные студенческие лбы историю государства Российского, яро бранясь с учёными-западниками, горячо, но толково будет доказывать: по злой мировой воле... а мировому бесу православный русский народ, яко ладан — бесу... свершалась не русификация — навязывание рус-

ского духа и языка, — а насильственная русскоязычная космополитизация, да исподволь — англоязычная. И русские пострадали страшнее, чем малые народы, коль русская поросль не ведаёт народных обычаев и обрядов, коль утратила любомудрую народную речь и песен старинных не поёт.

Но в ту пору ещё только цветочки-лепесточки трепыхались на лихом ветру, волчьих ягоды вызрели после сокрушительного падения Советской империи, когда под негласным властным запретом оказалась русская народная культура, и на российском радио и телевидение отзвучали... может, и на веки вечные... русские народные песни, и срамная попса помоями захлестнула Россию.

При советской власти из русских жестоко выбивали русское — суть, православное, о чём свидетельствуют глумливо порушенные православные храмы и православные новомученики, ленинскими богоборцами убиенные за веру Христову. Ленинская же власть запустила и адскую машину космополитизации русского народа, которая после поражения России в *холодной войне* с дьявольским Западом набрала *бешеную* англоязычную мощь и, в отличие от малых российских народов, почти сокрушила русскую нацию.

Но... *хорошая мысль приходит опосля*, как говорят в народе; ныне же Елизар лишь виновато клонил голову долу: верно, русские угробили малые народы, но, мол, повинную голову и меч не сечёт.

Учёные беседы притомили ребят, и для полного счастья Батор — англоман, меломан, битломан — врубил портативный магнитофон, и ватага *битлов*, от которых сходил с ума мир... *этот безумный, безумный, безумный мир*... сладострастно запела:

*Is there anybody going to listen to my story
All about the girl who came to stay?
She's the kind of girl you want so much it makes you sorry
Still you don't regret a single day.
Ah, girl, girl, girl.*

— Батор, ты великий меломан, битломан, англоман, переведи нам, тёмным: о чём битлы стонут?.. от похоти?.. от наркотиков? — съязвил Елизар, которого миновала-таки повальная зараза студенческой поры — пристрастие к модным англоязычным песням. Елизар в отрочестве и юности любил народные песни, любил до слёз, ликующих и печальных, и за народную песню, как за народную душу, мог глотку перегрызть насмешнику.

Батор, высокомерно и снисходительно оглядев деревенского паренька, перевёл песню, похоже, зная назубок вольное переложение её на русский язык:

*Кто подскажет, как мне быть
И что мне делать с нею,
Я влюбился, на свою беду!
Не жалею ни о чем — и обо всем жалею,
А уйду — и вовсе пропаду...
Ах, девушка, девушка, девушка...*

Когда Батор по-русски поведал содержание песни, Елизар фыркнул и разочарованно покачал головой:

— И от такой мурлы битломаны млеют?! “Жили у бабуся два весёлых гуся...” — и то мудрёнее...

Ухом не поведя в сторону Елизара, — одно слово — дикарь, Батор толковал, про что же эта *битловая* песня:

— Глубокий вдох в припеве символизирует либо тяжёлое сладострастное дыхание, либо долгую затяжку сигаретой. Битлы пристрастились к марихуане и стали ловко вставлять в свои песни намёки на наркотики. Партию бэк-вокала исполняли Пол Маккартни и Джордж Харрисон, ритмично напевая один и тот же слог. Они должны были петь “dit-dit-dit-dit”, но ради шутки спели “tit-tit-tit-tit”, что по-английски означает “сиська”...

— Я не понимаю нашу молодежь... — старчески проворчал неуёмный Елизар.

— А ты кто, дед? — усмехнулся Тарас.

— Не понимаю, как они слушают... тех же битлов, если в английском — дуб дубом, ни бельмеса не смыслят. Вроде нас... дикарей — насмешливо глянул на Батора. — Давайте, братцы, споём русскую народную...

— Русскую народную, блатную, хороводную... Зачем русскую?! Можно и белорусскую, — Ягор подгрёб гитару, покрутил колки, побренчал и, томо прикрыв глаза длинными ресницами, заиграл, наконец, и запел:

*Вы шуміце, шуміце,
Нада мною, бярозы,
Калышыце люляйце
Свой напеў векавы.
А я лягу, прылягу
Край гасцінца старога,
На духмяным пракосе
Недаспелай травы.*

Пригубляли чаши за здоровье, вершили за упокой... Охмелевший... может, на старые дрожжи плеснул винца... помрачневший Батор, обиженно глядя на Елизара, неожиданно изрёк:

— Я знаю, о чём ты сейчас думаешь.

— О-о-о, старик, ты и мысли читаешь. И о чём же я думаю?

— Ты думаешь о том, что я — бурят...

Елизар в недоумении уставился на Батора, не вмещая в разум его обиду, и все удивленно затихли. А Тумэнбаяр, глядя сквозь тенистые очки, усмехнулся:

— Я — монгол, чем и горжусь. Монголы полмира покорили...

— Наш однокурсник Давид Шолом — жид, так ему что, вешаться?.. топиться?.. — спросил Ягор, отложив сладкострунную свою подругу.

— Зачем вешаться? — усмехнулся Тарас. — Монголы полмира покорили, а жида — весь мир. Монголы — кривыми саблями, жида — хитростью... Ну, бурят так бурят, я — хохол, Елизар — москаль...

— Иди, Батор, искунайся, — посоветовал Ягор. — Полегчает...

— Идея!.. Айда, братцы, купаться! — Елизар резво вскочил с валежины, оголился до синих семейных трусов и, как в деревенском детстве, вприпрыжку полетел к тёплому плёсу.

...А уж синеватые тёплые сумерки выстоялись над морем; и ребята запалили костерок, наломав сухих ивовых сучьев. Разлили *остатки-сладки*, и... попала шлея под хвост... Ягор возгласил:

— Есть идея...

— Идея лебедей, — добавил Тарас.

— Нет, идея без лебедей. Рождённый пить любить не может, — изрёк Алексей Пешков, то бишь Максим Горький... А посему есть идея: а не послать ли нам гонца за бутылочкой винца?

Застолье дружно возопило: “Послать!..”, тут же кинули на пальцах, и гонцом вышел Тумэнбаяр. Но убоявшись хулиганов... отберут деньги у близорукого и тщедушного Тумэнбаяра... послали и Тараса — косая сажень в плечах. Когда гонцы вернулись, да не с бутылочкой винца, со “Столичной”, когда выпили и охмелели, Тарас неожиданно накинудся на Елизара.

— А ты, Елизар, случаем, не из жидов?

— С какого боку-припёку?

— Имя еврейское и отчество — Елизар Лазаревич...

— А-а-а, вон оно что... — и тут Елизар, историк начитанный, растолмачил другу: — Про бедного Лазаря даже школяры знают... Да, имя древнееврейское. Правильнее даже — Елеазар. В Ветхом Завете — третий сын Аарона, получивший священство. Когда не стало двух старших братьев, не оставивших наследников, к Елеазару отошло первосвященство и утвердилось за его родом... А в Новом Завете Елиуд родил Елеазара.

— Мужик родил? — подивился Тарас.

— Так говорилось у древних евреев. Не перебивай... Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос.

— Во, во, во... — со злорадным восторгом огласил Тарас, — я и подозревал, что ты из жидов.

— Глянь на меня: ты видел русее?

— Ну и что?! — Ягор подоспел на помощь к Тарасу. — Истинные евреи из древних израильских родов — тоже русые. Это хазарские жида с азиатчиной. Опять же имя — Елеазар.

— Дался он вам, Елеазар. Да у меня брат — Исай, сестра — Устинья, дед — Лазарь, бабка...

— Ясно море, — пожал плечами Тарас, — ты же не один еврей в семье.

— Какие еврей?! По материнской линии мы из староверов, а у тех сплошь и рядом библейские имена. Был даже великий русский святой Елеазар Анзерский; в Соловецком монастыре основал Свято-Троицкий Анзерский скит...

— Также, поди, из евреев. Выкрест...

— От народец, а! Если в крае нет воды, значит, выпили жида! И чего вы на евреев окрысились. Богоизбранный народ... Сам Бог в еврейском народе воплотился. Апостолы... А сколько из евреев вышло великих людей, верно служивших России, прославивших Россию?! Темь...

— Угробили они вашу Россию. Тьфу! — досадливо сплюнул Ягор.

— Почему вашу?

— Я — не русский, я — белорус.

— Во, во, русс... Да, ты — белый русс, может, русее любого великоросса. Как и червонный русс...

Очнулся от хмельной дрёмы мрачный монгол:

— Чингисхана свято чтит вся Монголия как великого полководца, завоевавшего полмира, как создателя великой Монгольской империи...

— ...И жестоко вырезавшего полмира, залившего кровью и слезами полмира, — вставил Елизар. — Даже монгольскую племенную элиту вырезал, не жалея детей, стариков и старух...

— Ханы веками сеяли смуту, и реками лилась монгольская кровь. Чтобы остановить кровопролитие, сплотить монголов в единое государство, нужно было вырезать племенную и родовую элиту... Что у русских сотворил Иван Грозный, когда создавал русское царство. Но в Монголии-то Чингисхана высоко чтут — национальный герой, а почему в России Ивана Грозного, национального героя, проклинаяют?

— Так у москалей жида правят, — пояснил Тарас. — А жида ненавидят всё доброе русское, а Ивана Грозного — особенно. Иван Грозный им, что серпом по брюху... А москали... дурковатые, продажные... у жидов на побегушках. И тоже костерят Иван Грозного. Сталин пытался вырезать жидов, так ныне он — заклятый враг. А тоже, как Чингисхан, создавал великую Советскую империю...

Тумэнбатор сквозь зубы выцедил стакан водки и, воинственно глядя на Елизара, вспомнил былое...

...Теснимые монголами половцы пали на колени перед русскими, их заклятыми врагами: простите Христа ради, спасите!.. а кто старое помянет, тому глаз вон. Русские князья решили подсобить половцам и встретить неведомого врага за пределами земли Русской. Ратоборцы вышли навстречу монголам. Ложным отступлением монголы заманили русских и половцев к берегам реки Калки. В июне 1223 года случилась кровавая сеча на Калке. Дружины русских князей бились разрозненно: ох, уж эта удельщина, междоусобица!... Увлечлись преследованием отступившей лёгкой монгольской конницы и попали под удар главных сил противника. Дружины Мстислава Удалого, Даниила Галицкого и Мстислава Черниговского были разгромлены. Киевские полки Мстислава Старого не вступали в брань, но монголы окружили их и вынудили сдать.

— На пленных князей монголы положили доски и задушили, пируя на них, — поминал Тумэнбаяр. — А русских баб и девок...

— Ну, ты, Чингисхан, успокойся! — сурово осадил Елизар монгола.

И тот накинудся на Батора:

— Бурят — от слова “буриха” — уклоняться. Монголы пошли на Русь, а эхириты, булагаты, хорииды повернулись спиной... уклонились от похода, струсили.

Глаза Батора, словно два боевых лука, хищно сузились:

— Что ты мелешь?! Бурят... буряад... баряад — от слова “бар” — могучий, тигр...

— Ты — тигр?! — Тумэнбаяр насмешливо оглядел пышнотелого Батора. Тот хлётко выговорил монголу что-то по-бурятски — пересмешник по-мрачнел и затих.

— А есть хакасская версия: “пыраат”, — сверкнул учёностью Елизар. — Под таким именем русским казакам стали известны монголоязычные племена, что жили к востоку от хакасов. А потом уж “пыраат” обратилось в русское “брат”. И стали эхириты, булагаты, хонгодоры и хори величаться “буряад”. А в русских летописях — братские люди.

— Ага, братья... — ядовито усмехнулся Тумэнбаяр. — У русских — жиды, у монголов — буряты...

Не успел он договорить эту ересь, как слетел с валежины, словно пёс его хвостом смёл: над тихо шающим костерком мелькнули башмаки, и бедовая его головушка угодила в кусты. Парни оторопели, диву дались: как смиренный и дебелый Батор, сидя напротив Тумэнбаяра, резко, почти незримо жогнул того в лоб. Парни вскочили, зашумели, вытянули бедолагу из кустов, где тот чудом нашарил очки. Батор поднялся, изготовился добавить, но меж ними встал плечистый Тарас:

— Успокойся, Батор. Прижми хвост... А ты... Чингисхан!.. охолонься, иди-ка, ополосни лицо...

Когда вернулся мокроволосый и сникший Тумэнбаяр, Тарас подвёл его к Батору и, силком сведя их ладони, властно велел:

— Миритесь!..

Елизар добавил ребячью присказку:

— Мирись, мирись, мирись, и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться.

— Говорят, в общаге два монгола-журналиста подрались, один другому ухо откусил, — вспомнил Ягор.

— Говорят... — усмехнулся Тарас. — Говорят, москали кур доят...

— Давайте, мужики, выпьем чашу мировую, круговую! — Елизар лихо плеснул в стаканы. — В любви и дружбе нам хама угэ,¹ бурят ты или русский, еврей или татарин.

— За дружбу народов! — возгласил Тарас.

— Сяброуства! — Ягор взметнул стакан.

— Найрямдал!² — согласился Тумэнбаяр.

— Хани барисан, нухзэрлте, — благословил здравницу Батор, тоже окунувший буйную головушку в предночное студёное море.

— Еврейский народ породил Христа, а всякий иной народ — бурятский, монгольский, русский — гениев добра, — рассудил Елизар. — А негодяи во всяком народе водятся...

Ягор, задумчиво пощипывая струны, тихонько потянул:

*А я лягу, прылягу
Край гасцінца старога
Галавой на пагорак
На высокі курган,
А стамлённыя рукі
Вольна ў шыркi раскіну,*

¹ Хама угэ — всё равно.

² Найрамдал (монгол.) — дружба.

*А нагамі ў даліну,
Хай накрыве туман.
А сталённых рукі
Вольна ў шыркi раскіну,
А нагамі ў даліну,
Хай накрыве туман.*

На песню, словно ночные бабочки-метляки на костёр, потянулись отважные купальщицы, словно чаровницы-русалки всплыли из морской пучины; и вдохновлённые пареньки суетливо, наперебой стали манить русалок к тихому костру, к каменному столу, а те колебались, прячась в тальниковой тени. Шёпотом, чтобы не порушить песню, Елизар спросил Тараса:

— А как по-украински: “Я тебя люблю?”

— Я тобэ кохаю. А любимая — коханя... А по-белорусски: “Я цябе кахаю”.

— А я могу девушке и по-бурятски загнуть, — прихвастнул Елизар. — “Би шамда дуртэб...”

Батор колочёе покосился на него:

— Русские девки всем на шею вешаются — грузин, армян ли, азер, а у бурят с этим строго.

Елизар, затаив обиду, ответил:

— У русских тоже было строго. А если любовь?.. Там уж не смотрят, бледнолицый ты или краснолицый...

— ...индеец Чингачук Большой Змей, — досказал Тарас.

*Вы шуміце, шуміце
Нада мною, бярозы,
Асыпайце мілуйце
Ціхай ласкай зямлю...*

Батор, безмятежно откинувшись на траве, задремал под белорусский мотив, хотя и пробормотал спросонья: “Подыщите мне красивую бурятку...”. К плечу его притулился Тумэнбаяр, очкастый, сухонький — и в чём только душа держится?! Чёрный костюм висит на нём, как на вешалке... Монгол, посмеиваясь, что-то бормотал на степном наречии, когда во сне наплывали на него отрадные видения: может быть, бескрайняя жёлтая степь, отара овец, серым облаком плывущая к багровому закату, белая войлочная юрта, сизый дымок костерка и молоденький чабан с девушкой... седло к седлу, нога к ноге... рысят к юрте на коренастых, мохноногих монгольских конях... паренёк говорит милой о любви, отчего бугристые девичьи щеки горят стыдливым румянцем, а глаза смущённо опушаются тенистыми ресницами.

*А я лягу, прылягу
Край гасцінца старога
Я здарожыўся трохі
Я хвілінку пасплю.*

* * *

...А проводины плясали, пели и шумели своим чередом. Когда вырубили тарахтелку — так в сердцах обозвал магнитофон Баясхаланов отец Галсан, — когда со смехом и гомоном снова расселись за столы дубовые и яства медовые, старик-верховод, обличкой напоминающий медных божков-бурханов, вдруг с горловым, птичьим клёкотом начал песню-старину, и молодое застолье перестало пить, жевать и болтать, со звероватой чуткостью велушиваясь в мотив; а уж как ухватило напев с увядших и одрябших стариковых уст, так и песня, словно скачущий галопом конь, гулко, размашисто полетела над сникшими, льнущими к земле ковыльями — от изножья увала на сухой взлобок, к смутно чернеющей берёзе-вековухе и далее — к белесому небу.

Дивен язык бурятский, что особо ощутимо в песне, протяжно, певуче палящей беркутом над степными увалами, над речной долиной... Слушал Елизар бурятские напевы, не понимая толком, о чём идёт речь, но чуя настроение, мысль, и душа его то светло печалилась, то ликовала, словно звучала русская народная песня. Ох, поучительно для русских Иванов, не помнящих родства, что в бурятских степях и пожилые, и молодые любят исконные народные песни. Вспомнилось теперь с улыбкой... После школы, провалив экзамены в университет, Елизар вернулся в родное село, и год толкался в аймачной газете “Улан-Туя”¹, позже переименованной в “Ярууну”. И помнится, бродяжка репортёрская судьбина занесла его в степное ухоженное бурятское село Ульдурга, где директором школы был фронтовик, Герой Социалистического Труда, поэт Цокто Номтоев. Елизар нагрнулся туда, чтобы освещать для “Улан-Туи” годовой отчетно-выборный суглан. Когда отчитался председатель колхоза, иссякли здравицы, на клубную сцену вышел бурятский оперный певец — земляк, в ту пору известный всему миру баритон, — и мощно запел, и народ, а в клуб набилось полсела, вдруг тоже запел, и голос певца утонул в мугучем народном хоре. Такого концерта Елизар сроду не слышивал.

После ранешней песни взвилась над застольем молодая “Шамханда”, и Елизар — многожды слышавший песню на гулянках, в клубе и по радио, отчего мотив её вьелся в память, — тоже воспрял, и хотя не пел, но песня гудом гудела в душе: то веяло над степью прохладным ночным ветерком, то вихрем взмывал напев к снежно-голубой луне. Стало легко и радостно; и здешняя степь казалась благословенной, — воистину *жаргаланта нютаг*, и душа рвалась обнять и расцеловать всё застолье, словно единоутробных братьев и сестёр. Но песня кончилась, и Елизару вдруг невтерпёж стало — так захотелось потянуть отцовскую, вдруг властно ожившую в нём: “Ты, вешун да птица ворон, чо кружисся надо мной...”, а то материну: “Что ж ты, милый, уньвно да призадумался...”, или уж дедову, слышанную сызмальства: “Сокрылось солнце вместе с назенькой², горевать буду, горе мыкать...”; но петь в одиночестве было смешно и горько, а рыжий парень с девчужкой, конечно, не подхватят, да, поди, и слыхом не слыживали дедовских напевов — хали-гали, буги-вуги, твист да шейк³ на уме... И так Елизару стало горестно и сиротливо, что он с тоской подумал о родичах, *откочевавших* в город.

Мать с отцом, старовойсковой семейской родовой, голосисто и ладно певали на пару старинные песни. Как потянут, бывало, печальную старину, так и закремневших мужиков слеза прошибала, а уж сырая бабонька сидит, бывало, за братчинным столом, внемлет, сердешная, как сокрылось солнце вместе с назенькой, а глаза уж ей заволакивает солёный туман, и ситцевый запан, подолом которого она слёзы утирает, мокрёхонек, хоть выжимай.

От грузно придавившей сердце пьяной кручины Елизару хотелось реветь в голос — слёзы мутили взор; и он решил, что пора, однако, в самом деле яба цыренка — отчаливать с Богом до дому, до хаты; топать от греха подальше, потому что, — настороженно прикинул он, — какая молодая, налитая водкой, лихая гулянка обходилась без драки, не кровянилась; а уж буряты, обидчивые, от неловкого словца вспыхивающие, как порох, могут и в бока насовать, и зубы посчитать. И хотя Елизар смалу не робел никогда, сам синяки нашивал и другим глаза красил, тут он понял, что развороту не будет, тут парни дружные, мигом *салаги загнут* да бока намнут.

От настороженных дум его отвлек пожилой чабан Цыремпил, что перед гулянкой заинтересовался, на кого Елизар учится.

— Вот я хочу тебя, паря, спросить, — вьедливо полез Цыремпил с разговором. — Ты, паря, грамотный, ты мне скажи: пошто ваша русская промеж себя ши-ибко худо живёт?

У Елизара и так на душе кошки скребли, и не хотелось ему попусту *зубы мыть*, скука томила, хмельная усталость, но он всё же усилием воли заставил себя выслушать чабана.

¹ “Улан туя” — “Красная заря”.

² Назенька — любимая.

³ Стильные танцы в пятидесятых, шестидесятых, семидесятых годах двадцатого века.

— В каком смысле?

— Вот дедка ваша с кем попало гулят, а у бурят — не, не... Ваша мать, отец ребятёшка бросат, а сын, дочка — старый мать, отец. У нас такого сроду не бывает. У нас мать, отец — почётный люди. А пошто, паря, у вас не так?

— Я откуда знаю, — пожал плечами Елизар, и, может быть, впервые стало ему грустно за русских: крыть было нечем, *карта бита* — правду-матку резал прямодушный Цыремпил. — Раньше, поди, такого не было.

— Раньше, паря, не было. У меня много русска тала... А пошто так стало? Ты же грамотный...

— Почему я знаю?! — уже досадливо дёрнулся Елизар, прилаживаясь, как бы улизнуть от въедливого чабана. — Пить много стали, мозги пропили...

— Однако, шибко грамотны.

— А при чем здесь грамота?!

— Грамотны, умны — дед, бабка, мать, отец слушать перестали, — вот худо и живёте.

— Может быть, — зевнув, отозвался Елизар и, притомившись разговором, отринув приличия, отвернулся от Цыремпила; тот ещё поворчал и заговорил по-бурятски с соседом.

* * *

Елизар уже ладился отчалить, но неожиданно увидел Дариму, неведомо когда приехавшую или пришедшую пешком и теперь сидящую напротив. Словно выплыло солнце из серой тучи, смахнув с луговины густую, стыльную тень, смущённо и тепло заиграло в цветах и мокрых травах... Пугливо, воровато глянув на неё исподлобья, Елизар смущённо опустил глаза долу, — такой пригожей и приманчивой явилась перед ним дева, что боязно было смотреть, а так тянуло глянуть хоть краешком глаза. И не удержался: сперва покосился только, а потом и вовсе уставился на неё, закрасневшуюся, как маков цвет, смущенно посматривающую сквозь смоляные ресницы. Елизару припало на ум, что Дарима-то и приблазилась ему возле берёзы-вековухи, прозываемой онго хухан, что на гребне хаан добуун — увала-владыки; степная дева и привиделась ему, проплыла и рассеялась перед глазами голубоватым туманом. Но в отличие от той, представшей ему у берёзы, у Даримы была коса не русая, а словно вороново крыло, но как-то уж очень по-русски лежала она у девушки на груди, и глаза у неё были не васильковые и круглые, а смоляные, и гибко, словно два крыла, изогнутые, оттянутые к вискам брови. И опять, как на увале, как перед городской залёткой, торопливо, хотя и без большой охоты глянув на себя со стороны, обречённо выдохнул: нет, эдакую красу-смоляную косу не видать ему, как своих ушей; такая, поди, и близко не подпустит, хоть и росли рядом, и в отрочестве сердце мальчишечье припадало к ней.

Но тут Елизар заметил, что и Дарима с весёлым, слегка смущённым любопытством нет-нет да и посматривает на него, и когда взгляды их слились над столом, девушка робко и боязливо, но все же ласково улыбнулась парню широкими губами, похожими на лепестки таёжной саранки, алеющей в сумрачно-зелёных чащобах.

Долго ли, коротко ли, но, уже отрешённые от гомонящего застолья, увязанные незримыми нитями, не таясь смотрели они друг на друга, и тёк их безголосый, то настороженный и пугливый, то игриво воркующий разговор, словно они, уже близкие, родные, сошлись после долгой разлуки и не могли наговориться и наглядеться, и только ждали — не могли дожждаться конца застолья, чтобы обняться, оставшись наедине в тихом укромном месте. А потому, когда вновь затеялись танцы, когда он взял её покорную руку-ледышку и повёл через ограду, самое заветное промеж них было уже безголосое молвлено.

Загорелись висающие над столами лампочки, к которым ток шёл от движка, тракторно тарахтевшего под навесом. Елизар вместе со всеми переминался с ноги на ногу под тягучие, навзрыд, звуки давнишнего танго и, не узна-

вая себя, во хмелю всегда вольного с девушками, легко придерживал Дариму нервно подрагивающими пальцами. Она почувствовала его волнение, засмеялась:

— Что ты меня держишь, как фарфоровую куклу? Боишься уронить?

— Боюсь... — отозвался Елизар словно перегоревшим, сильным голосом.

Смелее глянул на неё — выгуль-девка: клетчатая рубашонка едва сходится на груди, темно-вишнёвая юбка, подрубленная выше огруженных колен, трещит по швам; а вроде недавно ещё мельтешила по улице голенастая пигалица, поминутно вытирая голыми шершавыми ручонками вечно мокрый нос.

— Могу, Дарима, и покрепче обнять, — Елизар так лихо прижал её к себе, что ощутил ожог от того, как напряглась и уплотнилась девичья грудь, как изогнулось в противлении её крутое, излучистое тело, как сверкнули ночной подлунной водой распахнутые глаза.

Елизару стало не по себе, но он тут же опомнился, передёрнувшись от скребущего по лицу усмешливого взгляда городской крали, что стояла наособину, прислоняясь к пряслу заплота. Елизар видел, как её приглашал Дамбиха, потом ещё кто-то, но Цырендулма-Анжела всякий раз, горделиво мотая головой, отваживала ухажёров. Когда Елизар спиной почувствовал её взгляд и когда перехватил его, то, наперекор городской залёте, ещё больше склонился к Дариме так, что щёки их нет-нет да и касались друг друга, и стал нащёптывать на ушко:

— Хорошо, что ты приехала. А то бы со скуки сдох, напился бы, как зюзя.

— Тут и без меня девушек хватает, — взметнула на него озорные глаза, указывая ими на городскую диву.

— Я тебя ждал.

— Да-а? — с недоверчивой улыбкой покачала головой.

— И теперь не отпущу.

— Ого! — удивлённо всмотрелась она в Елизаровы глаза и засмеялась. — Ишь ты, какой шустрый.

— Да уж такой... Давно хотел с тобой увидеться.

— И что тебе мешало? Девушки?.. Знаю, знаю...

— Какие девушки?!

— А Вера? — Дарима погрозила ему пальцем. — Я всё про тебя знаю.

— Да, Вера... Замуж вышла Вера за парашютиста-пожарника... Нет, честное слово, мне так хотелось с тобой увидеться...

— И мне... — она пылливо заглянула ему в глаза, отчего Елизар, отведя взгляд, благодарно приобнял девушку и смущённо притих.

Он смутно помнил, как после танцев и застольных здравниц очутились они возле овечьей кошары, в глухой и прохладной тени; не помнил, как слились их губы, как слетал с них пугливый, судорожный шёпот. Потом Елизар краем глаза приметил: парни вывернули из-за угла и тут же будто исчезли, и среди них привиделся ему Бадма Ромашка. Ожила былая тревога, прихлынуло стылой водой предчувствие беды, но так уж разгорячилась всполошённая молодая кровь, что и тревога, и предчувствие словно растворились в жарком бреду. И когда он прошептал, что любит её, что для него и жизнь без неё не в жизнь, Дарима опомнилась и, оттолкнув Елизара, убежала за ограду, где ещё догуливали проводины крепкие старики, переминались с ноги на ногу танцующие пары и шелестело осенней листвой утомлённое танго.

Смущённый, виноватый, вышел следом за девушкой Елизар и тут же всмотрелся, как Дарима что-то быстро и сердито выговаривает Бадме Ромашке, который слушал, набывчив шею, потом круто развернулся и пошёл из ограды. Елизар повинно глянул ему вслед, потом снова отыскал глазами Дариму, и вина перед её прежним ухажёром тут же истаяла в нестерпимой нежности к любимой. Чтобы утихомирить зыгравшую душу, завернул он за угол дома, присел на завалинку под навесом и лишь запалил папиросу, как увидел перед собой Баира, малого брата Баясхалана и Даримы, приземистого, но крупноплечего паренька, яро сжимающего кулаки. «Однахам, Раднахам, будет драхам...» — усмехнулся Елизар на бурятский лад, не испугавшись, однако, потому что *пьяному море по колена*, да и не верил он, что завяжется здесь настоящая сваря: для старожилых бурят испокон степного века зва-

ный и желанный гость — неприкасаемый, и скорее родичу бока намнут, нежели гостя тронут. Конечно, если гость не пакостник...

— Выйдем, поговорим, — мотнул кудлатой головой задиристый хубун¹, прилежавший заступиться за обиженную сестру.

Елизар встал с завалинки, и, выкинув недокуренную папиросу, глухо отозвался:

— Говори здесь, Баир.

Бесстрашный во хмелю, он обречённо и отчаянно прикинул: ежели миром не поладят, придётся, не дожидаясь удара, свалить малого с ног и пробиться в ограду, а там уж, поди, старики не дадут завязаться драке. А иначе конец: вот ещё трое на шум подошли, обступили со всех сторон — сытые, хмельные, горазды поразмяться. “Или уж отпихнуть малого, и... дай Бог ноги...” — решил было Елизар.

— Не бойся, они тебя не тронут. Пойдем, поговорим.

— Говори здесь.

— Боишься... Чего тебе надо?.. Чего ты к моей сеструхе лезешь?

— Лезешь?.. Да мы с ней с пятого класса дружили...

От сильного удара в скулу Елизар чуть не сел на завалинку; а потом, уже не помня себя, как и всегда бывает в драках, яростно кинулся на Баира, свалил его наземь и упал сверху. Несдобровать бы Елизару... Уже ребята завертелись вокруг него, норовя достать ногами, но тут, услышав гортанные крики и отчаянные взвизги, прибежал Дамбиха-хулиган и, смекнув, в чём дело, по-хозяйски разметал бузотёров.

— Тебя, Дамбиха, звали? — осканился Баир, потирая содранную, испачканную землей щеку. — Без тебя разберёмся.

— Трое на одного?! Ах ты, щенок! — Дамбиха поймал малого за ворот и рванул его, поблдевшего от злости, с земли. — Поговори ещё...

Он опустил малого на землю, и Баир, захлёбываясь от бессильной злобы, стал что-то кричать по-бурятски, на что Дамбиха ответил по-русски:

— Тебе-то какое дело?! Ты-то чего лезешь, сопля?! — Елизар смекнул, что толкуют о нём и Дариме. — А теперь миритесь, — он обнял сразу Елизара и Баира, потом легко сдвинул их лбами. — Пока не помиритесь, не отпущу.

— Да я-то ничего, — тряхнул плечом Елизар. — Это он... Но если чем обидел, Баир, ты уж прости.

— Во-во, правильно. Теперь ты, Баир, проси прощения. Давай, давай — он же наш гость.

— Ладно, — буркнул малой, — извини.

Это прозвучало примерно так: мол, погоди, сука, мы тебя ещё прищучим в тёмном переулке, костей не соберёшь.

— И вы, соколики, смотрите у меня, — Дамбиха-хулиган с колючим прищуром оглядел парней, притаившихся в тени. — Кто моего друга пальцем тронет, тому несдобровать. У меня разговор короткий, — довольно хлопал он себя по необъятной груди. — А ты, Елизар, не бойся... не бойся: пока я здесь, тебя никто не обидит. Ты наш гость. Но... если Дариму обидишь, несдобровать тебе. Пошли, выьем за Жаргаланту.

— Ладно, сейчас подойду, — ответил Елизар, трясущимися руками выскребая из пачки “прибою”. Когда Дамбиха ушёл, прибежала испуганная Дарима...

* * *

Дальше он помнил всё белыми, сияющими в лунной ночи, клочкастыми вепышками: вот он выпил ещё и расцеловался с Дамбихой, растирая по лицу счастливые слёзы; вот завёл, наконец, русскую песню — “Живет моя отрада в высоком терему...”, — и неожиданно подхватило её молодое застолье, и наособищу позванивал голос Даримы; вот с большим опозданием пригнали с пастьбы сытую отару, и Елизар, подпарившись к хозяйским ребятишкам, вместе с Даримой бестолково мотаясь среди блеющей отары, загонял,

силком пихал овец в широкий загон, успевая, будто ненароком, обнять девушку; а уж впотьмах, когда над благоухающей землёй — над хангал дайдой — расцвёл сверкающей россыпью Млечный путь — гусиная дорога, и над бобылихой-берёзой взошёл красноватый дородный месяц, когда парни западали трескучий, мохнатый костёр, огненные брызги которого сеялись в небе и вызревали звёздами, когда вокруг дико пляшущего огня завился и поплыл, раскачиваясь, бурятский ёхор, похожий на русский хоровод, Елизар, стиснув покорную Даримину ладонь, кружился вместе с молодёжью, и хотя не подпевал, ибо из бурятских напевов знал лишь шутивное русское “ёхарши, ёхарши, все бурятки хороши!..”, хоть и мало что понимал, а и тоже всплёскивал руками и ухал полуночным белым филином. А уж месяц забрался выше по небесному увалу, побледнел, и степь — теперь воистину белая, воистину сагаан гоби или сагаан хээрэ, — словно присыпалась инеем; и Елизару вдруг страсть как захотелось промчаться по голубовато-белым увалам на халюном¹ коне, и — непременно с Даримой. И когда она согласилась, когда уговорили Баясхалана, сразу же оседали двух коней, Елизару достался сивый, Дариме — вороной, мастью слившийся с ночью, лишь мигающий в темени белой отметиной, когда ветром отметало со лба чёлку. Забравшись в седла с прясел загона, от самого гурта, гремящего ёхором, пустили коней в широкий, отмашистый намёт; и сразу же ночной ветер затрепал Елизаров чуб, стьло впился в разгоряченные губы, с которых пеной срывались диковатые ликующие вопли:

— Ур-р-ракша-а-а-а!.. Ур-р-ракша-а-а-а!.. Впер-р-рё-од!..

Баясхалан просил, чтобы мигом вернулись, но они скакали к луне, озиравшей степь своим дремотным оком; летели стремя к стремени и осадили взмыленных коней возле онго хухан — берёзы-вековухи, грустно шелестящей на ветру сиротскими лохмотьями. Объехав берёзу, чтобы охладить, утихомирить взопревших коней, спешили подле коновязи. Кажется, не был Елизар большим охальником, но, как баяли в деревне, лобызало уродился добрый, отчего податливые губы Даримы быстро задеревенели, взбугрились и вишнёво, что было видно даже при свете месяца, ярко зацвели. Всё пронеслось диковатым, знойным ветром, словно они ещё летели верхами по степи, понужая прытких коней, но теперь степь выстилалась под копытами не студёно-белая, а красная и раскалённая. Было им и страшно, и грешно... Вспокоённая кровь как вспыхнула, так и угасла; Елизар, болезненно отрезвевший, сгорающий от стыда, опустошённый, виновато оглаживал девушку, угрюмо и отчуждённо отвернувшись лежавшую на его пиджаке. Хотя и не подавал он вида, но душу Елизарову рвало свирепое раскаянье, точила вина перед Даримой и её родичами; и так хотелось пасть на колени и со слезами молить Господа, чтобы простил ему этот грех, яростно двуперстно креститься, как учил покойный дед, стуча лбом в сухую и твёрдую землю. Но не молясь, не каясь, Елизар всё нежнее и бережнее оглаживал девушку, теперь уже родную, плотью слитую с ним, скорбно обнявшую свои бабы колени, утопившую в них заплаканное лицо. Очнувшись, Дарима вопросительно взгляделась в Елизаровы виновато блуждающие, пустые глаза, словно высматривая в них свою судьбу, и парень, перехватив её горький, полынный взгляд, стал вспоминать:

— Когда шёл на гурт, загадал себе счастье у этой березы, и привиделась мне ты...

— Зачем всё это?! — она застонала, раскачиваясь, морщась от горечи. — Сама виновата...

— Чего ты убиваешься?! — приобиделся Елизар. — Я же люблю тебя.

— Как я отцу и Баясхалану в глаза погляжу?

— Придём на гурт, я им скажу, что поженимся; падём на колени перед отцом: пусть благословит, — сгоряча предложил Елизар, но тут же спохватился: палкой бы на гурт не загнали, где его ждал короткий и жёсткий разговор.

— Ты что?! — испугалась девушка. — Не вздумай.

¹ Халюный — ярый.

— Ладно, потом скажем... Любимая, отныне ты моя жена, — обнял, прижал к груди, и Дарима, согретая, обласканная, вроде бы немного успокоилась. — Я же ещё в школе любил тебя. Помнишь, как мы в бараньи лодыжки играли?..

— Помню... — дрожащими пальцами, боязливо и неловко погладила она Елизара по размётанным, включенным кудрям, и парень, ухватив её холодную ладонь, прижал к своему воспалённому жаркому лбу. — Помню, ты подарил мне цветные карандаши, и я нарисовала белую степь, зелёную березу и овец...

— Художница... — улыбнулся Елизар и, не совладав с затомившей его тревогой, неожиданно спросил: — А Бадма тебя любит?

— Любит, — прошептала девушка и, отвернувшись от Елизара, уставилась в таинственную белую степь.

— А ты? — напрягся Елизар, цепко вглядываясь в её глаза, в которых мерцал рассеянный небесный свет.

— Не спрашивай... Я же с тобой... Бадма добрый... — хотела что-то прибавить, но промолчала, отчего в душе Елизара осел горьковатый осадок. — Не переживай, я же с тобой... А ты не бросишь меня?

— Глупая ты, Дарима, — повеселев, со смехом пал навзничь, увлекая за собой девушку. — Милая ты моя...

— Не надо, не надо!.. не говори ничего!.. молчи, молчи!.. — беспamięтно зашептала Дарима, неистово обнимая его, словно желая слиться с Елизаром на веки вечные.

Пока ворковали голуби, словно греясь на вешнем солнышке, пока нежились и ластились друг к другу, закатился за далёкую берёзовую гриву ясный месяц, и степь ослепла, оглохла, лишь слышался старческий скрип берёзы-вековухи, похожий на сухой, приглушённый кашель степняка, да пугал посвист крыльев — незримые, скользили над ними летучие мыши. Когда, разгребая крылами ночь, обдавая влюблённых зловещим холодом, плыла у самой земли белая дунь-мышатница, Дарима чуяла, как обмирает на её плече Елизарова ладонь, словно он боялся, что летучая мышь, падкая на белое, кинется к нему на спину, обтянутую светлой нейлоновой рубахой... И девушка с материнской заботливостью укрывала его пиджаком, кутала лицо крыльями своих волос, пахнущих степным ветром.

* * *

Летняя ночь — птичий сон, сладкий вздох: вот уже засинел восточный край неба, и с трав поползла холодная тень; Дарима убрела в степь, срывая белые цветы-спички, сплетая из них себе венок, а Елизар, любящий глазами, всё зарился на её юную стат; но когда дева, увенчанная белыми цветами, вернулась, неожиданно увидел измученное, с голубоватыми крутами вокруг глаз, печальное лицо Даримы, белеющее среди смоляных прядей волос, размётанных по плечам; и опять вина заскребла Елизарову душу, и опять, обнимая зябко вздрагивающую девушку, клялся и божился он любить её весь век.

Елизара стало мутить, — не то похмельная, не то шальная, затомилась его голова, и чудилось, плесни на неё, раскалённую и звонкую, ковш студёной воды, и она лопнет со змеиным шипением. Можно было, конечно, поправить голову... Старые люди говорили: “Чем зашибся, тем и лечись...” И можно было пойти на гурт опохмелиться, но он и вообразить себе не мог, какими глазами посмотрит сейчас в глаза своему дружку Баясхану, как заговорит со старым Галсаном; и опять пристушило к самому горлу злое раскаянье: ох, парень, парень, не спяну бы эдакую радость, не с налёту, не с наскоку, не украдом, а то ведь галопом... гоном погнал распалённых коней. И всё же... всё же... Исыякла счастливая ночь, и Елизар глянул на Дариму, сидящую рядом, пал перед ней на колени и, сжимая ладонями её лицо, шептал заплотшно, что лишь она одна ему любя, судьбой дарена, и только смерть разлучит их.

И верил, и не верил сам своим клятвам и своей суматошной божбе... Сомнение больно сосало душу... А потому, боясь встретиться с девушкой взглядом, он суетливо распрощался и, кутаясь в мятый, зазеленевший степною травой пиджак, торопливо пошёл прочь, затем вдруг обернулся и долго, виновато глядел, как девушка, скорбная и ссутуленная, хлынцой¹ уезжала от роковой берёзы на своём вороном коне, держа в поводу сивую кобылу.

Оживал день, Бог весть что сулящий несчастным.

* * *

Под утро с гнилого озёрного края натянуло морок, и уже в деревне Елизара прихватил короткий, проливной дождь, сырой остудой пробравший до костей. Парня трясло, зуб на зуб не попадал, когда он добрёл до своей растающей в землю белёной избушки с двумя мелкими оконцами; хотел было сразу завалиться спать, лёг не раздеваясь, прямо на покрывало, но не то что спать, а и минуты улежать не смог, — озноб, нервная дрожь, ломота в голове, кручинные думы подняли его с кровати.

Он пил и пил приторно-тёплую воду, но не мог залить огонь, палящий изнутри грудь и горло. Исходил избёнку вдоль и поперёк, зароки давая себе в рот не брать погань-водку и Дариму забыть; и чудилось, ничего доброго не сулит ему безумная степная ночь. Чтобы отвлечься от горькой думы, затопил печь и, согрев воды, долго мылся в цинковой ванне, яростно мылил голову, свирепо тёр грудь и живот колючей вехоткой, докрасна растёрся вафельным полотенцем, затем, обсохнув, отчистив и отгладив брюки и серый пиджачишко, неожиданно успокоившись, бодро пошагал к военкомату.

Там среди хмельного и похмельного, говорливого народа уже посвечивали стриженные головы парней-новобранцев, обряженных в такие завалющие одёжки, в каких лишь стайки коровьи чистить. Оно и понятно: зачем путную одежку надевать, коли через сутки-двое, самое большое — трое выбрасывать её, сменив на армейское х/б. Крикливый и слезливый русский и бурятский говор рвался в небо бабым воем, скулила и тянула тоскливую ноту гармонь, ставшая редкой гостьей на гулянках деревенской молодёжи.

Елизар пробился к гармонисту, лихому, моложавому мужичку, возле которого расхристанная бабёнка с наплаканными докрасна глазами выкрикивала частушки, горько, словно заведённая, стуча кирзачами в закаменную землю:

*Ох, юбка моя!
Юбка узкая!
Гармонист, гармонист,
Сыграй русскую!*

Гармонист подмигнул ей осоловелым, припухшим глазом и хрипло отозвался:

*Ох, конь вороной,
Золото копытце!
Ох, матаня моя,
На кругу вертится!*

Тут к гармонисту бочком, с приплясом вывернулась толстая краснощёкая баба и заголосила:

*Что хотите, говорите
На меня, на сироту,
Съела окуня живого,
Шевелится в животу...*

¹ Хлынцой — мелкой рысью.

Мужики дружно захохотали, и утонул в хохоте скрип гармошки, но когда хохот поутих, гармонист, восторженно покачав головой, рванул меха, и посыпались в народ игривые, затейливые переливы-переборы:

*Милый в армию поехал,
Не оставил ничего,
Только легонький поминочек —
Ребёнок от него...*

После срамной частушки гармонист без всякого перехода выкрикнул ещё одну, невнятно промычав словечко непотребное, потом заиграл подходящее случаю, и вся компания запела:

*Как родная меня мать провожала,
Как тут вся моя родня набежала...
.....
Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты...*

Елизар выпал из круга, высккивая Дариму рассеянным блуждающим взглядом, но на глаза ему угодил Баясхалан, взерошенная голова которого сиротливо топорщилась над малорослыми родичами, деловито наплёскивающими водку в чайные пиалы. Елизар, с горьким раскаяньем вспоминая минувшую ночь, застыдилась подходить к Дугарнимаевым, но когда Баясхалан с тихой подружкой отошёл от родичей, Елизар, с грехом пополам переборов стыд, прибил к своему дружку; парень вяло и отчужденно пожал суетливо подсунутую Елизаром руку и сразу же, не слушая хвастливых жалоб на гудящую похмельную башку, прощально обернулся к Сосновскому озеру — там, у песчаных берегов, на теплых плёсах отыграло, отплескалось его вольное детство. Елизар хотел было уладить дело с Баясхаланом: мол, всё у него с Даримой не просто так — *позатросил да забросил*, — решили пожениться, но тут Галсан, похоже, ни сном ни духом не ведавший о ночных похождениях дочери, сунул её искусителю кружку и стылую баранью грудинку на *занюх и заед*.

Рядом слезливо заголосила певунья:

*Вспомни, мой ненаглядный,
Как тебя я любила...*

Дарима не явилась, с грустью и облегчением отметил мутным сознанием Елизар, уже *плеснувший на старые дрожжи* и быстро опьяневший. Потом он и вспомнить не мог, как приполз в свою нору, упал на кровать, не разуваясь и не разоболокаясь, и заснул мёртвым сном.

* * *

После полудня он прибрёл на гурт, но, убоявшись показаться на глаза хозяевам, покружил возле кошар, и неожиданно столкнулся лицом к лицу с Даримой. Он стал умолять её, чтобы пришла к нему, и она, в конце концов, молча кивнула головой. На исходе дня осторожно переступила исшарканный порог Елизаровой избёнки; пришла она под самые потёмки, когда у Елизара, весь день напролёт лежавшего в лёжку, все жданки вышли, когда уже все окошки проглядел он тоскующим взором и устал заклинять и звать её. Девушка ступила в избу и осветила всё вокруг, словно белой луной: стены дома широко раздвинулись, вместив и вчерашнюю ночную степь, и гребень увала, и берёзу-вековуху...

Неделю тайком захаживала дева к Елизару, и давно небелёная, облупленная избушка уносилась со скучной земли в дивную страну, где, обласканная солнечными лучами, орошённая тёплыми дождями отца-неба, в любов-

ных грозových страстях мать-сыра земля испокон веку рожала свои плоды. Но по младым и беспечным летам парень вроде и не ведал о том, и думушку такую не держал в разудалой голове, что ликование разбуженной плоти, засевающее семя в целинную и щедрую утробу здоровой девы, взойдет спелым колосом, нальётся сочным плодом. Не все коту Масленка, будет и Великий пост — придёт и расплата, когда нужно будет судьбу девичью по-мужски решать и венец принимать. Нет, ни о чём душа его безбожная не печалилась, ни о чём дурная головушка не ныла. Всякий вечер нетерпеливо и маетно прислушивался Елизар к скрипу калитки, карауля свою зазнобу, а она о своём, о бабьем пока и не заикалась. Если Дарима не приходила вечером, то он от тоски бродил из угла в угол, готов был на стенку лезть, но бежать на гурт, где летовала девушка, боялся. Он не жил обыденной жизнью, не брёл изо дня в день, а словно летел в горячем, свистящем вихре. Когда падал перед ней на колени, сжимал ладонями склонённое лицо и шептал, шептал журчащие слова, Дарима с молчаливым удивлением, с какой-то грустной лаской перебирала пальцами его ржаные кудри, не пугая вопросами о том, что готовит им завтрашний день.

И хотя вокруг них стягивался тревожный сумрак, они, как глухари на любовном току, оглохли, ослепли в своей страсти, не слыша судов-пересудов, ни с какого бока-прилёка не ожидая беды. В самом деле, мало ли холостых парней и незамужних девок в деревне любится, шатается до зари, посиживает в лодке у дремотного озера, таится в укромых, клянясь любить друг друга до гроба. Но морок уж стучался над беленькой избёнкой, утонувшей в дурной и пьяной траве-лебеде да крапиве...

В один из вечеров, когда Елизар (и благо ещё, что одетый) сомлело нежился на кровати, а Дарима теребила, закручивая на палец и без того витой Елизаров чуб и думала вязкие свои думы, пытливо поглядывая на суженого, вдруг кто-то со всей осерчалой моченьки заколотил в ставень. Молодые притаились, выжидая, что незванный-нежданный гость постучит-постучит да и уйдёт не солоно хлебавши. Но стук, всё более резкий, настырный, не прекращался, и Елизару, хоть и отговаривала его Дарима, пришлось подняться с лежбища, выйти в сени, спросить, кто там, а потом и отодвинуть деревянную щеколду. В избёнку ввалился хмельной и злой Галсан и, недолго думая, стегнул сырмятным бичом по Елизаровой спине, потом замахнулся на дочь, но тут уж самочинный зятёк, не помня себя, кинулся к чабану, перехватил руку в запястье и, стиснув, пригнул книзу. Галсан, матерясь на чём свет стоит, мешая русские и бурятские слова, брызгая слюной и захлёбываясь, рвался из Елизаровых рук, а потом, обмякший, обессиленный, повалился на стул.

— Ай-я-я-яй, пошто худо делал?! — зацокал он языком, когда залитые злом и вином, помутневшие глаза его прояснились. — Пошто наша депка обманывал?! —

— Почему обманывал?! — взвился Елизар. — Никто её не обманывал.

— Пошто моя ничо не сказал?! Ай-я-яй!.. Папка твоя большой мне тала, ты пошто худо делал?! —

— Чего я худого сделал?! — горячился и Елизар. — Я её люблю. Мы поженимся... Может, завтра пойдем в сельсовет и распишемся.

— Так, паря, никто не делает. Сперва наша депка увёл...

— Почему увёл?! — спорил осмелевший Елизар. — Ну, почему увёл-то?! Что она, тёлка, на поводу её уводить?! —

— Пошто отец, мать не говорил?

Самозванный зятёк, убёгом или скрадом умыкнувший зазнобу, виноватился, оправдывался, горячо толковал про любовь и свадьбу. Опамятовавшись, заговорила и Дарима, до того стоявшая возле печи ни жива ни мертва, стиснув ладонями пылающие щёки. Она заговорила по-бурятски и, похоже было по голосу, умоляла, отчего отец и жалобно, и раздражённо морщился, пытался её оборвать, а потом, плюнув на пол, вылетел из избы, одним пинком широко распахнув дверь.

Выйдя следом, чтобы запереть калитку и сенные двери, Елизар увидел, как Галсан, оборачиваясь, грозя пальцем и глухо ругаясь по-бурятски, отвя-

зал от приворотной вереи сивую кобылку. Помнится, на ней Елизар гарцевал с зазной в ту пьяную ночь... Забравшись в седло, отец Даримы ходко порылся по тёмной улице. Елизар проводил его до поворота смущённым взглядом, потом осмотрел всю деревенскую улицу из конца в конец. Ему показалось, что она глухо затаилась в потёмках, и в глубине её зрела беда.

— Чего он накинудся-то?! — простодушно спросил Елизар, вернувшись в избёнку. — Я же ему по-русски сказал, что у нас всё серьёзно, не просто так, что мы хоть завтра распишемся в сельсовете.

Дарима отчуждённо молчала, лишь пожала плечами. Если русская девушка после такой отцовской хулы и выволочки ударилась бы в рёв, залилась бы слезами, то Дарима и слезинки не уронила. Она сидела онемевшая возле стола с неубранной посудой, уставясь в ночное окно обмершими в печали, угасшими глазами. Долго тормозил её Елизар, долго обласкивал, прежде чем она ожила и заговорила.

— Да ладно, — отчаянно махнула рукой: *снявши голову по кудрям не плачут*, хотя глаза заволакивала темная, недвижимая тоска. — Отец понял...

— Что он понял?

— Понял, что мы любим друг друга. Ты же не разлюбил меня?..

— Спрашиваешь...

— Не знаю... Ахэшка, — так на бурятский лад звала она брата Баяхсана — написал из армии, чтобы я с тобой не водилась. Обиделся... Эх, и почему ты бурятом не родился?!

— Может, мне в бурята переродиться?! — теперь обиделся Елизар. — А может, я в прошлой жизни бурятом был?! По-буддийски называется реинкарнация... Хотя в еврея легче переродиться, — невесело пошутил он, — обрезался, Талмуд и Тору почитал и... Какая разница — русский, бурят?! Скоро не будет ни русских, ни бурят, ни евреев, ни армян — сплошные люди мировые. И в паспорте не будут метить нацию... Мой брательник по пьянке пел... — Елизар улыбнулся, вспомнив потешки брата:

*Я в Америке бывал,
кое-что я там видал:
там и русский, и бурят
по-английски говорят...*

Так-то вот... А потом, сколько русских с бурятами породнились.

— Не так уж много. Наши парни русских девок брали, а ваши редко женились на бурятках. Крещёные, те и вовсе с бурятами не роднились, — мы же иноверцы.

— А западные, усть-ордынские буряты — сплошь крещёные...

— Какие они крещёные?! Одна слава, что крестились. Шаманисты...

— Да, бурятки редко за русских выходили... Но теперь, слава Богу, другие времена, теперь всё можно: русский, бурят — хама утэ, лишь бы друг друга любили.

— Может быть... — вздохнула она. — Давай я тебя научу по-бурятски говорить.

— А что, можно. Я уже мало-мало толмачу: би шаамда дуртээб... Переведи.

Дарима засмеялась над его корявым выговором.

— Я тебя люблю.

— Или: шы намэ тальштэ. Переводи.

— Ты меня поцелуешь?

— Целуй!

Дарима обняла и звучно поцеловала его в щеку.

— Начнём учиться.

— Потом, — Елизар привлёк девушку к себе. — Иди ко мне, и ни о чём не думай, не переживай. В всех не угодишь, и на всякий роток не накинешь платок.

Он потянул девушку на включенное лежбище, но... как ни умолял, как ни обижался, Дарима собралась и ушла... чтобы снова явиться на другой ве-

чер, чтобы в глухих и тёплых избяных сумерках истаяла в ласках, заспалась томящая тревога.

А уж по деревне азартно, с шумными пересудами ползла молва.

* * *

Поскольку молодые не прятались по углам и под вечер, случалось, в обнимку бродили у дремлющего озера либо на лодочке катались... *не гребли, а целовались...* а потом ходили в кино на вечерний сеанс, вот и заворожилась сплетня, поднялась колготня, засудачили кумушки — вечные держатели деревенского лада, перемывая косточки Елизару с Даримой. Дальше — больше, и Елизарова родня прознала о том и толковала: мол, Елизар Калашников с ума спятил — сошёлся с Галсанкиной дочкой и собирается жениться на ней, и что нынче дееся на белом свете?.. Живущая в соседней избе тётка Ефимья, старуха сердитая, в древлей вере крепкая, всполошилась, стала выговаривать дикошарому племяшу, когда тот привычно завернул к старухе отобедать.

— Все монтёришь, лазишь по столбам? — повела она речь издалека, наливая в миску окупёвую уху.

— Знаешь, тётка Ефимья, загадку? — Елизар пребывал в шутейном настроении. — Вот отгадай, что за птица: летит, пищит, когтями машет?

— Отчепись ты от меня, пустобрёх, — досадливо отмахнулась старуха от шутника, как от надоедливой мошки.

— Ну, кто: летит, пищит, когтями машет? Что за птица?.. Слабо?.. Да монтёр же! Монтёр со столба упал... — засмеялся Елизар; тётка же смотрела на него, гадая: хворый он или придурковатый.

— Запищи-ишь скоро... и крылами замашешь, — осекла она его смех и сразу же повернула разговор к наболевшему. — Худларить¹ ты, гляжу, парень, большой мастак, чо и баить, а ты подумал своей непутной головой, какой грех на душу берёшь?

— Ты о чём это, тётка Ефимья? — невинно захлопал Елизар белесыми телачьими ресницами, соображая, однако, куда клонится разговор.

— Да всё о том, душа твоя фармазонья, что сбегишь собачью сладил, без венца Божия девку с пути сбил. Ох, накажет тебя Боженька, ох, накажет!.. Сбил её с панталыку, пузо нагуляет, принесёт родителям в подоле, Галсанка-то тебя по головке не погладит. Ты что же это девку баламутишь?!

— Всё-то вы знаете, — Елизар стал хлебать реже, не подымая глаз от миски, болезненно чувствуя, как разгорелись уши, и жар хлынул по щекам.

— Дак уж все уши прожужжали. Одне и разговоры теперича в деревне. Родно-то всю переполошил.

— А им-то какое дело до моего тела, — огрызнулся языкастый племяш. — Что вы все лезете?!

— Уж на что буряты без Христа в голове, а и те совесть имеют, и те видят блуд ваш. Срам-то какой, знали бы твои родители.

— Я уже не маленький, молоко обсохло на губах.

— А ты не зубаться с тёткой-то, норки-то не раздувай, — не испужаешь, а лучше послушай, что тебе добры люди говорят, раз толмач угы².

— Надоело слушать, сами уж с усами, своя голова на плечах есть.

— Во-во, голова-то с овин, да в овине клин. Только кепку и носить да девкам полоротым ум мутить. Больше у тебя ни на чо толку нету.

— Что вы ко мне пристали?! Я, может, жениться хочу.

— Сперва надо было жениться, а потом сходиться. Не мог по-божески...

— Женюсь, не поздно.

— Женись, хоть заженись... Жениться не напасть, да как бы после не пропасть.

— И женюсь, и никого не спрошусь!

¹ Худларить — врать, лукавить, творить непотребное.

² Толмач угы — понимания нет.

— Жени-ись, женись.

— И женюсь, наперекор вам женюсь.

— То-то заживешь — кум королю, сват министру... Галсанка — баян¹, денег, как вшей в заганнике, вот и будешь, как сало в масле, кататься. И невеста с приданым — сундук коленом подпират. Вот погуляю дак погуляю.

Елизар, зло прищурившись, терпеливо ждал, когда тётка Ефимья натежится, а потом сухо спросил:

— Всё?.. Ну, я пошёл, некогда мне с тобой тут рассусоливать.

— Женить бы тебя не на доброй девице, а на рябиновой вице. Ох, развожжался ты, парень, ох, плачет по тебе бич.

— Вышел я из детского возраста.

— Нич-чо-о, допрежь бы не посмотрели, что эдакий детина, выходили бы вожжами, враз бы шёлковой стал.

— Прошли те времена...

— То-то и оно... Ох, беда-бединушка, извередились, избаловались, креста на вас нету, прости, Господи, мою душу грешную, — тётка перекрестилась. — Ни стыда, ни совести... Пропадёте с такой жизнью... Ты бы, парень, лучше подобру-поздорову отступился, пожалел девку. Тебе же чо, поросу², раз калган³ не варит, наиграйся да кинешь, а ей-то, бедной, каково будет с такой ославушкой жить. Ты об этом-то подумал, мякинная твоя башка?! Да уж чо, уж руську-то, хошь никудышку каку, не мог сыскать?

— А мне хама угэ⁴, — русская ли, бурятка! — дурковато выкрикнул Елизар и, кинув ложку об стол, поднялся на ноги.

— А ты не реви, не реви, медведь, я пока ещё, слава Богу, не глуха те-терья. Шибко вольные вы ноне, всё вам хама угэ, но, однако, наплачетесь, навоетесь от своей воли, кровавыми слезами плакать будете. Своя воля — не Божья воля: страшнее неволи. Помяни моё слово.

— Да бурятки-то получше наших, понадежнее... — тут он помянул про себя недобрым словом свою прежнюю девчонку Веру, водившую его за нос да ещё и дразнившую: дескать, у меня миленка два, два и полагается... — Русская, бурятка... — лишь бы любовь, а на ваши суды-пересуды наплевать.

— Доплюёшься! Любовь... — передразнила тётка Ефимья. — Сплюбил красавицу, на всю округу славится. Любо-овь... Во всяку дырку её сүёте, как затычку. Понимали бы каку холеру... Слово-то Божье хошь бы не поганили. Какая любовь без благословенья, без венца...

— А это уж наше дело! — отрезал Елизар. — Нам жить, а не вам. И нечего мне указывать.

— О-ох, дуришь ты, парень, и не лечисся. Обалдень ты, обалдень и есть! Тьфу на тебя! — старуха сплюнула в сердцах, но тут же по древнему семейскому чину, отметнув два корявых почерневших перста, трижды перекрестилась на тёмные иконы, лепившиеся в красном углу, сломила спину в низком поклоне и лишь потом, отдышавшись, прибавила: — С греха с тобой сторишь. Был бы тут братка, тятка твой, да взял орясину, какой ворота подпирают, да отходил бы по хребтине — лишняя дурь-то мигом бы вылетела.

— Не те времена! — напомнил Елизар старухе.

— Рано ты, парень, за свою волю взялся. Со-овсем рассупонился. Сам позоришься и девку срамишь...

Она бы ещё и не таких попрёков наговорила, но Елизар, выведенный из терпения, так саданул дверью, что та чуть с петель не слетела, а в шкафчике под божницей жалобно бренькнула посуда.

После таких попрёков Елизар, смалу поперечный, задуривший себе голову *преlestными* книжками, как решила тётка Ефимья, а теперь, без отца-без матери, ещё и ухвативший жадно свою волю, зажил своим шальным умом. Он стал нарочно, наперекор старухе и деревенским кумушкам с крапивными языками, средь бела дня расхаживать со своей милой то под ручку, то в обнимочку; и когда они, весело щёбеча, выплывали из ограды, старухи на

¹ Баян — богатый.

² Порос — бык.

³ Калган — голова.

⁴ Хама угэ — всё равно.

лавочках, да и мужние жёнки поджимали губы сварливой гузкой, а ребятёшки бежали хвостом и орали оглашенно: “Парочка — баран да ярочка!.. Парочка — баран да ярочка!..”

* * *

Суды-пересуды строгих кумушек за спиной да за глаза ещё бы полбеды: не износишь рожу без стыда, говорит старинная пословица... Одно обидно было: и сверстники не шибко-то их жаловали. Иные молодые буряты откровенно с лютой неприязнью косились в их сторону, будто жалели своими мрачно суженными глазами, но помалкивали, а вот русские парни и в лицо, и за спиной такие шутки отпускали, что даже тёртые мужики, хлебнувшие вместе с матюжками фронтовой мурцовки, осуждающе качали головами.

Для храбрости осушив по чарочке крепкого портвейна “Три семёрки”, они гуляли под ручку, топя стыд в вине. Раздухарившись, как-то даже явился в клуб *на скачки* — так тогда называли стильный танец *шейк*, сменивший буги-вуги, хали-гали и твист. Елизар издали приметил парней, торчащих возле клуба, откуда уже рвалась на волю ревучая музыка. Подойдя ближе, он хотел было пропустить Дариму вперёд, чтобы войти в клуб так, будто каждый из них — сам по себе, но сообразил, что обидит тем девушку, да и таить им нечего: разнесли уж сороки на хвостах по заугольям и подворьям. Тогда он ещё крепче обнял Дариму и бодро подмигнул ей. Но многовёрстным и насадным почудился им короткий путь от калитки до клубного крыльца, ибо шли влюбленные навстречу напористым, насмешливым взглядам, словно оголившим, испарившим их вдоль и поперёк, будто брели они из последней моченьки против колючей, жалящей снежной пурги. По окаменевшему лицу девушки видно было, как она страдала.

Русские парни посиживали на перилах, словно петушки на насесте, коптели вечернее небо папиросным дымом и, заливая срамные байки горьким вином, ржали застоялыми жеребцами на весь дремотно обмирающий берёзовый парк, обступивший клуб со всех сторон. Видно, давно уж по ним каталяжка плачет...

Дарима, даже не поведав смоляной бровью, презрительно отвернулась и гордо вступила в клуб. Елизар тоже бы с превеликой радостью прошмыгнул мимо хмельной шатии-братии, но это означало бы вызов, и после танцев алчущая крови братва поджидала бы его возле клуба. Ладно, коли только нос набок своротят, красной юшкой умоют, а могут же и поизгаляться властью и так отбучать, что век будешь *работать на аптеку*. Словом, пришлось с достоинством пожать нехотя поданные руки, достать пачку болгарских сигарет с фильтром, которую они тут же ополовинили.

Разбухшую дверь открыли на полный отмах, и валом повалил из клуба густой потный дух, взбаламученный пляской и диким ором “Бони М”, который парни переводили на деревенский лад: “Варвара жарит ку-уу-уррр!..”. Возбуждённый заморским рёвом, Елизар чуть было не нырнул в оглушительный ор и в бешеную пляску, но его придержал рослый чернявый парень по кличке Чечен, который и по малолетке, и позже не раз хлебал лагерную баланду, чем и кичился перед зашуганной братвой, верховою среди *архаровцев* — *держал мазу*. Хищно блеснул он жёлтой фиксой, цвиркнул слюной сквозь зубы и, доверчиво склонившись к Елизару, спросил:

— Твоя чувиха? — мотнул курчавой головой в сторону двери, за которой уже растаяла в полумраке Дарима.

Елизар невольно покраснел, растерянно улыбнулся и пожал плечами.

— Твоя... Ништяк бикса! — отставил толстый палец, в отличие от других не иссиненный тюремными наколками. — Ну, и как она, ничего?

— Да ничего, — с трудом растянув сведённые ознобом губы вымученной улыбкой, пожал плечами Елизар, уже тяготясь столь пристальным вниманием бластного жожака.

— Ну, и как она... — едва он успел досказать своё беспардонное замечание, как его подпевалялы от хохота горохом посыпались с крыльца, а Елизар, хоть и заломила душу горькая обида, хоть и ненависть к Чечену муги-

ла взор, всё же улыбнулся старательно и, чтобы усмирить дрожащие руки, отбросил недокуренную сигарету и тут же запалил другую.

Тоскливо было у него на сердце, но он понимал, что с жиганьём надо ладить, иначе так выдубят кожу, что небо покажется с овчинку, костей не соберёшь после этих костоломов — сразу можно домовину заказывать. Нет уж, лучше миром решить, потому что на кого обижаться-то?! Так, пьянй подзаборная, ждущая только поживы, над чем бы позабавиться.

— Нет, ты, карифан, *побазарь* с нами, скажи, как она тебе, — Чечен ухватил Елизара за плечо, когда тот пошёл было мимо них в клуб.

Миром и ладом не завершился бы пьяный *базар*, если бы, как весной на проводинах Баясхалана, не выпал из густой темени Дамбиха-хулиган, которого Чечен, хоть и ростом был на голову выше, боялся, как чёрт ладана. Хотя Дамбиха и бражничал с лагерными, но срамных намёков о бурятской деве, конечно, не потерпел бы.

— Чего развеселились? — не здороваясь, угрюмо спросил он Чечена, угодливо соскользнувшего с перил. — Выпить есть?

— Откуда?! — суетливо отозвался Чечен. — Разве что щенков пошмонать.

— Дайте закурить, — Дамбиха, шаря налитыми кровью глазами по притихшим щенкам, протянул руку, и Елизар торопливо сунул ему услужливо открытую пачку. — Ну, как, паря, жись?

— Жись... только успевай, паря, держись, — бойко, по-деревенски отозвался Елизар.

— С Даримкой сошёлся... — Дамбиха тяжело и мутно всматривался в Елизара. — Не нравятся мне ваши шашни. Ты или женись на ней, или не дури девке голову. Я на проводинах пожалел тебя, парень, но если Даримку обидишь... башку оторву. Понял?..

После танцев за Даримой увязалась подружка Зоя — белая, пухлая, болтливая, как сорока, похожая на Веру Беклемишеву, бывшую коварную зазную Елизара. И зазвенели в низенькой избёнке гранёные стаканы, туманом выстелился сигаретный дым, заиграл принесённый Даримой с гурта магнитофон, и пьяный Елизар, забыв свою раскосую подругу, скакал под музыку с синеглазой, игривой девчушкой, стуча копытами в скрипучие половицы; а уж под сладкие стоны рокового танго так обнимал и оглаживал распирающие тонкое и скользкое платье щедрые Зойкины бока, что охмелевшая дева повисла на его плечах, томно смежив белесые ресницы. Бог знает, к чему бы привели их пьяные обжимания, но Елизар опомнился... Далеко-далеко, словно в степи, на островке бледного света, увидел он одиноко и неприкаянно сидящую Дариму; увидел и опалился виной, и уже не зарился на Зойку — синеглазую, пышногрудую, русокоую.

* * *

Ревнивая бабья колготня, косые взгляды, насмешки парней раздражали и Елизара, и Дариму, но лишь светлым днём, ночами же их руки сплетались в изыанной темени и тиши, голоса сливались с предрассветным птичьим журчаньем. И двадцать лунных ночей и синих рассветов, дарованных судьбой или уворованных у неё, пронесли со свистом, как одна ветреная мартовская ночь, отгорели, словно зимняя заря. Приспел срок Елизару возвращаться в университет, где надо было переводиться на заочное, чтобы потом играть свадьбу. В последний вечер, лишь явилась Дарима, кинулся парень прикупить винца и закуски, чтобы устроить прощальный сабантуй.

Вернулся и, замычав от досады, хлопнув по своей беспутной голове, увидел беспризорно брошенное на столешне материно посланье, писанное старшей сестрой под сердитый и слезливый говорок матери. Мать писала: дескать, слышана я от родичей, что сынок мой ненаглядный... стыд и срам на мою седую голову!.. не убоявшись Бога, без родительского благословения, без Божьего венца округился с Галсанкиной дочкой. Деваха она бравая, смалу работливая, домовитая, и душа у неё добрая, а всё одно, не будет ему, чаду неразумному, материного благословения. Оно, конечно, еравнинские буряты,

а особенно Дугарнимаевская родова, люди простые, к русским приветные, а всё живут своим степным уставом, и не след нашему брату совать свой русский нос, куда не просят, — дескать, дружба дружбой, а табачок врозь. А по-сему надо Елизару, коли не поздно, отступиться от девки, пожалеть её и не морочить голову. Либо уж жениться, коль Дугарнимаевы не против того.

По тусклому, ускользающему взору девушки Елизар понял, что письмо читано и пережито, благо, что хоть слезами не залито; и весь этот грустный вечер материны причитания стояли между ними серой и тоскливой преградой, мешая любовному блаженству, заставляя думать о будничном, земном.

— ...Ты скажи мне прямо, ты как со мной, по любви или?.. — пытал он девушку, разметавшись по широкой кровати с литыми чугунными козырьками; и Дарима, смугло светясь во тьме прохладной наготой, завесив Елизарово лицо ливнем смоляных волос, переспрашивала:

— Или как гуляющая?..

— Ну, ты, милая, к словам-то не цепляйся. Я серьёзно...

— Ты ещё сам не решил, себя спрашиваешь.

— Нет, я решил: не жить мне без тебя... Нет, ты скажи мне: ты-то по любви?

— Дурачок ты, дурачок, — нежно целовала она его в лоб сухими губами, потом в щёки, в шею. — Если б не любила... Думаешь, легко мне...

— Понимаю, милая ты моя, любимая... — сострадательная душа его виновато ныла, взгляд туманился слезами. — Ну, ничего, поеду в Иркутск, заверну к матери и всё улажу. Мать, она добрая, поймёт, что мы любим друг друга. Да и никто нам не указ...

— Никто! — не желая думать и тревожить душу, торопливо соглашалась она. — А всё-таки жаль, что ты не родился бурятом...

Елизар засмеялся, попытавшись вообразить себя бурятом.

— Да я уж подле тебя бурятом стал. Би шаамда дуртээб... Правильно, Дарима?

Девушка привычно улыбнулась его корявому выговору и с кокетливой ревностью спросила:

— И многим ты говорил про любовь?

— Я и ещё кое-что знаю... — решил он подразнить ревнивую зазнобу. — Шы намэ тальштэ? Верно сказал?

— Можно догадаться.

— Мне порой чудится, будто я давным-давно толкую с тобой по-бурятски, и живём мы на степном гурту, в войлочной юрте...

— В Еравне ни одной юрты не осталось, все давным-давно в избах живут.

— А жаль... Я бы в юрте с тобой жил, пил бы арзу¹, арагушку² молочную. А давай вообразим, что это юрта... Очаг разведём, дыру в потолке прорубим, чтобы дым вытягивало, настелим войлочных потников под божницей, будем полёживать и... — неутолимый Елизар обнял девушку.

— Успокойся, — Дарима заслонила от него ладошками.

— Красиво: белая долина — сагаан гоол... ночь... в отдушину над очагом смотрит белая луна... сияют звёзды... и мы в юрте с тобою вдвоём, и я играю на хуре...³ Вот так, — он спрыгнул с кровати, сорвал со стены старенькую гитару, на которой изредка брэнчал, и, подыгрывая себе перебором, с нарочитой печалью запел:

*Синий-синий иней лёг на провода,
В небе тёмно-синем синяя звезда...*

— Нет, — он отпихнул гитару, — я бы пел по-бурятски, и горел бы костерок в очаге, и мы полёживали бы на белом войлоке, и...

— Одно у тебя на уме, — засмеялась Дарима. — Ты пошто такой беспокойный?! Наши ребята спокойнее... У тебя, однако, в каждом селе по невесте.

¹ Арза — молочная водка двойного перегона.

² Арака — хмельной молочный напиток.

³ Хур — струнный инструмент.

— Льстишь... Да нет, какие там невесты. Успеха не имею у вашей сестры... А вообрази, что мы не в избе, а в юрте, возле горящего очага...

Избёнка была ветхая, с неудобно торчащим посередине столбом, подпирающим круглую матицу, срубленную из тонкого ствола, покрытую облупленной известкой, едва удерживающую провисший потолок. Избёнка эта перепала Елизару от родного дяди, пожилого бобыля, который пустил племяша на лето под её ветхую крышу, наказав сестре, старой тётке Ефимье, присматривать за ним, и укатил к брату в Улан-Удэ. Бобыля избушка до прихода Даримы сроду не ведала путной уборки, не говоря уж об украшении: сквозь пыль и сажу, скопившиеся на её стенах и потолке, она смотрелась совсем неприглядно и походила скорее на укырку — забегаловку, чем на человеческое жильё. Сюда, как на проходной двор, смело заворачивали все, кому не лень, кому негде было выпить и потолковать о жизни. Гостили прежде у дяди, гостили теперь и у Елизара, а случалось, сморенные вином, и почивали и Дамбиха-хулиган, и его шальные дружки. На убогую заезжую, на *приблудище*, как ворчала старая Ефимья, изба походила и образом своим, и образом жизни своих обитателей. Летом по самую крышу заросшая дикой лебедой и крапивой, зимой тонущая в снежных наметах, она и внутри казалась нежилой без тёплой, домовитой бабьей руки. Елизар и харчевался, и частенько ночевал по соседству, у тётки, у неё же держал и кое-какую одежонку, и документы; но из-за Даримы питухи и лоботрясы отвадились от дома: раза два она взащей их вытурила. Она выбелила стены, выскребла толстые половицы, промыла окна, завесила их желтоватыми шторами, — словом, наладила бабий уют. Она хоть и родилась буряткой, хоть и выросла на овечьем гурту, а всё же по-женски чувствовала домашнюю красоту, любила и умела её устраивать. Но теперь Елизару стало мерещиться, будто в избёнку закрался бурятский дух. По-прежнему светились в сыром и тенистом красном углу иконы Божьей Матери и Николы Угодника, обряженные в медную, с прозеленью, узорчатую ризу; по-старому в тесном закутке желтел и вспыхивал в отсветах печного огня древний, с начеканенными на нём царскими медалями величавый самовар; и вроде ничего исконно бурятского в избушку и не прикочевало — ни медных божков-бурханов, пузатеньких, многоруких, многоглазых, ни халатов-дэгэлов — и всё оставалось в избёнке так же, как было при дяде, тем не менее, чуял Елизар бурятский дух. Не радуясь ему, но и не огорчаясь, он его особо ощущал, когда в избёнке домовничала Дарима: резала на столешне домашний сыр хурууд, перемешивала сухой творог айрахан, варила суп с бараниной и самодельной лапшой, запаривала зеленый чай, забелённый сливками: перед тем как заваривать, она настругивала его пластинками с большой чайной плиты.

Иссякла и последняя ночь. Ближе к рассвету убаюканная, заласканная Дарима, кажется, забыла про письмо; спала, вольно разметав по белой простыне своё смуглое тело, которое просвечивало сквозь облепившую её грудь белую исподницу. До сей поры толком не познавший первородного греха, порой даже и не веривший, что это ему, пеньку корявому, послана на ложе такая краса, Елизар всё гадал, как жить дальше. Ему не спалось, он вставал, пил чай, а под утро, всё уже передумав, решил снять в Иркутске угол, в селе у родителей сыграть свадьбу, позвать, конечно, и родичей Даримы, а потом укатить с женой в город, чтоб не мозолить глаза деревенской родне. От такого простого решения на душе у него прояснилось, и Елизар, не дожидаясь утра, разбудил Дариму, чтобы сказать ей своё веское слово, но она лишь слабо улыбнулась ему в ответ и опять смежила усталые веки.

* * *

Денно и ночью строчил он ей многостраничные, написанные мелким почерком письма, исполненные грусти и тоски, и, надоедая девушке в окошечке почты, выдававшей письма “до востребования”, ждал ответа, но приходили от неё письма редко, были они коротенькие, смутные, хоть и стояли в конце *целованья-обниманья* да *ожидания*. Потом Елизар с месяц отваялся на боль-

ничной койке — сломал ногу, — и поздней осенью с чёрной тростью, взятой напрокат в аптеке, явился в село, откуда недели две не получал ни ответа, ни привета. Истомилось его сердце, трепетала нетерпеливая душа...

От нехорошего предчувствия не находя себе места, обойдя свою избёнку стороной, завернул он к тётке Ефимье, которая за стаканом горячего чая поведала ему, что с полмесяца назад Чечен со своими дружками ножом заколол Дамбиху. Их посадили в кутузку, а парня хоронили всем селом.

— Царствие ему Небесное — по недомыслию не думая о том, что убиенный был степняк, бурят и вряд ли был крещён в христианскую веру, а возможно, и не верил ни в Бога, ни в лукавого, тётка Ефимья привычно перекрестилась в красный угол, откуда в сумраке отсвечивали древние образа. — Упокой душу раба Божия... Отмучился, бедолага.

Да, успокоилась хмельная и неприкаянная Дамбихина душа — беспечально вздохнул Елизар, всегда, казалось, знавший, что добром парень не кончит: либо пьяный в сугробе замёрзнет, либо в озере утонет, либо сгорит от вина, либо найдёт его разбойничий нож.

Горюя о дружке своего счастливого жаргалантинского детства, побрёл он в избёнку, по самые застрехи укутанную лебедой и крапивой. Долго неподвижно сидел он в сырой, насыщенной нежилым плесневелым духом, промозглой избушке, тревожно отмечая про себя, что в кути и горенке не осталось ничего, что напоминало бы Дариму, — ни цветастого байкового халата, ни другой одежки, привычно висевшей возле двери на резных деревянных вешалах; и лишь старая кровать, туго затянутая пикейным покрывалом, ещё зримо, подогревая иззябшую кровь, являла воображению бессонные, яро и беспамятно сгоревшие летние ночи.

На столешнице, ещё пуще растревожив Елизара, белела пачка писем, сочинённых им за два иркутских месяца, с байкальскими видами и полинявшими сплюснутыми цветочками, которые он исподтишка рвал в Тихвинском сквере и вкладывал в конверты для своей любимой. Пока ещё не соображая, куда бежать, стал он просматривать влажные, слипшиеся письма, то печальные, тоскующие, то раскалённые, словно захлёбывающиеся страстью; и невольно перечёл вписанные в них стихи Намжила Нимбуева, отичи и дедичи которого жили в соседнем айле Усть-Эгите. Елизара в своё время потрясла ранняя смерть Намжила. Стихи его, похожие на короткий и счастливый летний сон, так согласно и счастливо легли в Елизарову душу, что порой казалось, будто они пелись его грустным и ликующим сердцем, вызревали долгими и светлыми иркутскими ночами; и так стихи разбередили его тоскующую душу, что Елизар не удержался и переписал их для Даримы.

Будь у меня голос, —

неожиданно для себя вслух стал он читать стихотворение, не заглядывая в листок, —

*Атласный, гортанный,
Словно гарцующая
На цыпочках сабля,
Пел бы о бурятках,
Коричневых, как земля,
Об алых саранках,
Сорванных на скаку,
О пылающем солнце,
Запутавшемся в ковылях...*

Не солнце алой саранкой расцветало и пылало над Елизаром и Даримой в степной ночи, а бельмастый месяц отчуждённо и холодно висел над увалом, с мудрым покоем следя за влюбленными, летящими на пастушьих конях над сонными травами и, спешившись, припавшими к голубовато-белой степи.

Елизар вырвал из конверта другое письмо и опять прочёл шёпотом:

*Здесь женщины смуглы —
Они в долинах целовались с солнцем.
В них молоко томится,
Мечтая жизнь вскормить.
А брови гнутые над изумленьем глаз —
Как ласточек стремительные крылья...*

Сквозь испещрённые синими чернилами мятые листы стало проступать, оживая, Даримино лицо, мягко округлённое, смуглое, с пугающей и манящей тайной в чёрных, как ночь, глазах; девушка явственно уже присутствовала в сумрачной избушке, когда он читал последнее, сочинённое за неделю до приезда, слезливое письмо и приложенный к нему стих:

*Милая,
Спичку зажги
Или пошарь выключатель!
Месяц разлуки с тобой —
Самоизгнание в ад!
Руки ослепли мои.
Тепло твоих рук позабыли.
Глаза позабыли глаза,
Волосы — волосы,
Губы — губы...
Милая, здравствуй!*

Сидеть сиднем в избушке стало уже невозможно: сиди не сиди, добра не высидишь. Встревоженный и обиженный на Дариму — не могла уж встретить!.. — Елизар на ночь глядя отправился на бараний гурт. Ковылял суетливо, опираясь на чёрный батожок и не слыша, как начал ласково нащёптывать девушке свои укору и упрёки. Ну, да милые бранятся — только тешатся...

* * *

Даже при здоровых и быстрых ногах степной просёлок показался бы ему мучительно долгой, словно в поднебесье, к небожителям-бурханам, вечной дорогой — так рвалось его сердце, так истосковалось оно по Дариме, уносилось, крылатое, вперёд так быстро, что и не поспеть хромым шагом, так хотелось ему махом перескочить увал и спешиться возле загаданной и желанной. С едва переносимой мукой доскрёбся он до гребня увала-добуна, до сиротливой берёзы, где присел, чтобы дать передышку непослушной, ноющей ноге; но тут, возле онго хухан, такие нахлынули воспоминания, что сил не было сидеть, и он, похрустывая зубами от боли, стреляющей в ногу, кривя рот, похромал дальше, всем телом наваливаясь на батожок.

Недалеко от берёзы отковылял Елизар, обернулся — приглязнилось ему, что некий мрачный дух зловеще глядит ему вслед, что корявая берёза, чернеющая на увале, похожа на старую каргу-ведьму, на побирушку-нищенку: стылый ветер треплет её жалкие лохмотья, едва прикрывающие древнюю иссохшую плоть, а руки-сучья молитвенно, изломанно тянутся к моросящему дождю небу, где из туч вдруг выскользнул узенький месяц... И показалось ему, что вся она, как неприкаянная бобылка, трясаясь на ветру и раззявив беззубый рот, хохочет вслед, и смех её катится с увала клубами, хлещет Елизарову спину.

Мало радости от охлаждающего душу видения, и хоть свербела натруженная сломанная нога, Елизар прибавил ходу. Уже впотьмах добрался он, чуть не на карачках приполз на гурт, тепло и сонно желтеющий окошками. Уже в самой хангал дайде, благоухающей незримыми цветами, он снова и снова проговаривал ласковые слова, какие будет шептать Дариме, оглаживая её капризно изогнутую спину, уткнувшись лицом, чтобы не заметила слёз, в её волосы, пахнущие сухим клеверным ветром; и даже с Галсаном Елизар толковал, просил отдать дочку за него замуж, потому что без неё ему и жизнь не в жизнь; и уж Галсан, повздыхав, поцокав языком, благословил молодых.

“Все будет ладом, все будет хорошо, парень...” — взбадривая свой смятенный дух, шептал Елизар жаркими, пересохшими губами; но лишь вывернул из-за угла длинной бревенчатой кошары, где за стеной шебаршились и блеяли овцы, лишь шагнул в сторону избы, как тут же, словно от прямого и садкого удара в лицо, отпрянул назад... Угарно кружилась голова, не держали ослабевшие ноги, сердце стиснулось впервые отведенной ревнивой болью: на лавочке, в уютной полосе света, падающего из окна, тихо-мирно сидела Дарима в обнимку с Бадмой Ромашкой.

Прячась в густой вязкой тени, прислонившись к венцам кошары, дышащей пахучим кислотным бараньим теплом, Елизар смотрел не мигая и со странным, болезненным сладострастием точил сердце мукой; мало того, ему даже нестерпимо хотелось, чтобы Дарима с парнем не просто сидели, обнявшись, а чтобы ласкали друг друга, — тогда бы, кажется, сердце омылось последней, рвущей душу, короткой болью, после чего разлился бы во всем теле сонный покой, или вместо оглушительной растерянности вся его суть заострилась бы в ясном чувстве — в ненависти к Дариме; но они сидели, не ворохнувшись, ласково ворковали — ночной ветерок доносил невнятные голоса и смех девушки.

Сроду Елизар не чувствовал себя таким одиноким и сиротливым, словно вышибленный из седла на счастливом и ярком скаку и брошенный в холодной и голодной, мёртвой степи. Долгим и мучительным стал для несчастного парня обратный путь: он останавливался и, кусая губы от лютой обиды, клял девушку последними поносными словами, но потом спохватывался и, надеясь, что всё переменится, и Дарима, родная и тёплая, опять будет с ним рядом, — разворачивался, делал несколько шагов в сторону гурта, но тут же осаживал себя и ковылял к деревне.

Возле берёзы, такой же сирой и убогой, как и он теперь, упал Елизар на траву и заплакал; свет голубой выкатился из глаз вместе со слезами, и были они хоть и жидки, да едки — горько их было глотать. “Видно, мой талан¹ съел баран, — пробудился в нем материн голос. — Кому вынется, тому сбудется, не минуется... Не вынулось, не сбылось, зря тряпочки вязал на счастье...” С болью и горечью припомнил он, как летел сломя голову к берёзе, суетливо приматывал к её сучьям распластанный платочек, а Дарима, ещё не очнувшись после того, что так стремительно случилось, куталась в Елизаров пиджачок; и опять обида и ненависть стискивали до хруста его зубы, и опять, точно под крылом коршуна, под рукой парня-художника привиделась ему она, обвинившая гибкими руками его шею, — руками, которыми ещё недавно, обморочно заводя глаза, бессвязно шепча расслабленными, влажными губами, тербила его чуб, судорожно оглаживала шею, лицо; от такого жуткого видения хотелось ревья реветь, грызть сухую дернину, колотить в неё яростно стиснутыми кулаками.

— И что она в нём нашла?! — на всю степь, чёрную, непроглядную, стонал он и плакал, как в детстве, когда ребяташки отнимали дорогую, заветную игрушку. — На кого она меня променяла?! — вместе с приливами вскипевшей крови стучал в ноющий висок один и тот же вопрос.

Эта первая ночь в деревне показалась ему ночью последней — такая простиралась кругом зябкая пустота без Даримы; и проснувшись в избе школьного приятеля, еще не протрезвев после злой и плаксивой гульбы, Елизар вдруг понял, что нашла Дарима в том парне одного с ней роду и племени.

* * *

Не радуйся нашедши, не плачь потерявши — вот заповедь, тогда ещё неведомая Елизару, отчего ликующими были его ночи, отчего так стремительно пришла расплата и отчего она была такой мучительной; но, как говорила тётка Ефимья, сердце заплывчато, обида забывчата: и хоть не уходила Дарима насовсем из его тоскующей памяти, но уж другая припала к сердцу, и была она одного с Елизаром роду-племени; а благоуханная цветочная земля — хангал дайда — и белая степь — сагаан хээрэ, — и смуглая девушка, скачущая от берёзы к синеватому месяцу, поминались уже как сон, красивый и счастливый сон, в котором не было злости и обиды.

1989—2012

¹ Талан — удача.